

ВИКТОРИЯ
ПЛАТОВА

Тингль-
тангль



Завораживающие детективы Виктории Платовой

Виктория Платова

Тингль-тангль

«ЭКСМО»

2007, 2020

УДК 821.161.1-312.4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Платова В. Е.

Тингль-тангль / В. Е. Платова — «Эксмо», 2007,
2020 — (Завораживающие детективы Виктории Платовой)

ISBN 978-5-04-108215-4

Ямакаси пообещал своей девчонке Василисе, что возьмет на себя устранение ее сестры Мики. Ямакаси, этот безбашенный, совершенно не знающий страха экстремал, прикончит Мику легко, быстро и незаметно. Так думала Василиса и предвкушала, как она и Ямакаси будут жить вдвоем в огромной мастерской, доставшейся сестрам по наследству. Среди божественных скульптур, среди теней прошлого. И это будет настоящим счастьем. А пока ничего не подозревающая Мика живет с ними и, как заколдованная, постигает таинство кулинарного искусства. А Ямакаси потихоньку втирается ей в доверие и готовит пистолет. Проходит день за днем. Скоро прольется кровь. Очень скоро. Вот только ничего не подозревающая Мика начинает все чаще поглядывать на бесстрашного парня и с удивлением замечает, что ее сердце горит неудержимой любовью к нему...

УДК 821.161.1-312.4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-108215-4

© Платова В. Е., 2007, 2020
© Эксмо, 2007, 2020

Содержание

Часть 1	6
* * *	6
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Виктория Евгеньевна Платова

ТИНГЛЬ-ТАНГЛЬ

Все события, происходящие в романе, вымышлены, любое сходство с реально существующими людьми случайно.

Автор

Тингль-Тангль – легенды о злоключениях ведьм (шотл.).

© Платова В.Е., 2020

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020

Часть 1

Седло ягненка. Мика

* * *

...«Ямакаси» – представлялся этот тип. Татуированный казах, выдававший себя за японца. Любитель бутербродов с тунцом и ублюдочного мультяшного порно. Первое появление казаха прошло для нее незамеченным, оно не было ознаменовано ни фанфарами, ни литаврами, ни музыкой сфер; носки на батарее в их общей с Васькой ванной комнате – вот, пожалуй, и всё.

Ей надо было отнестись к чертовым носкам повнимательнее.

Впрочем, носки возникали и раньше: белые вискозные, свидетельствующие о чистоте намерений владельца; черные хлопчатобумажные, декларирующие приверженность патриархальным ценностям и (опосредованно) несогласие с расширением НАТО на восток. А были еще воинственные махровые (да здравствует Ирландская освободительная армия!) и пижонские из лайкры (да здравствуют виноградники в Клермон-Ферране!), были этноэкзоты из рисовых волокон (многие лета пагодам в джунглях Мьянмы!). Красные с золотом драконы на щиколотке тоже были.

Красные с золотом драконы – не что иное, как торжество Поднебесной.

Она не без оснований подозревала, что и вся остальная время от времени появляющаяся на батарее трихомундия произведена в Китае и мальчики Васьки (о-о, *мальчики Васьки!*) соструганы там же, в тех же покосившихся фанзах, той же простодушной рабсилой, которая завалила мир дешевыми одноразовыми товарами.

Дешевые и одноразовые – такими они и были, мальчики Васьки.

Один гринписовец, один нацбол, один скинхед, один сопливый кандидат в правозащитники; прочую шушеру, как и миллионы, миллионы китайцев, можно смело отнести к коллективному бессознательному – и где только цепляла их далекая от политики Васька, остается только гадать.

Ха-ха, та еще загадка, секрет Полишинеля, прости господи!

Васькины еженедельные экстрим-заплывы в лягушатнике, ограниченном территорией Питера и области, – вот что вызывало к жизни гринписовских и правозащитных зомби; сноуборд зимой, скалолазание и байдарочные party летом; погружение с аквалангом в Марианскую впадину как отдаленная перспектива, промышленный альпинизм как перспектива ближайшая – странно только, что при подобных амбициях Васька до сих пор работает официанткой.

Такая работа для Васьки – сущее наказание.

Но ни на что другое она не способна, как ни прискорбно. Даже в школу Васька никогда не ходила по-человечески: она толком не закончила ни одного класса, она не получила аттестат, и это неполучение было торжественно отмечено десятидневным переходом на лошадях в алтайской глуши, завершившимся почему-то через четыре месяца в Петропавловске-Камчатском. Да-да, она хорошо помнит – Петропавловск-Камчатский.

Васька позвонила именно оттуда и попросила выслать денег на авиабилет до Питера. Совершенно будничным, надменным, слегка искаженным помехами голосом. Пара минут ушла у нее на то, чтобы осознать: это действительно Васька, ее блудная младшая сестра, объявленная в федеральный розыск, трижды похороненная и четырежды оплаканная.

– С Новым годом, Микушка, – сказала тогда Васька. – Мне нужны деньги. Не слишком много, сумма тебя не разорит.

«Сумма тебя не разорит» – вот как. Ничего другого за четыре месяца бесплодного ожидания, глухой неопределенности, страданий и слез она не заслужила. Ах да, еще поздравление с Новым годом! Иначе как издевательством это не назовешь.

Как и упомянутое всуе, почти забытое «Микушка».

Васька редко прибегала к ее детской домашней кличке, почти никогда. «Микушку» можно было бы считать намеком на раскаяние, примирительным жестом, если бы... Если бы она не знала Ваську. Но она знала Ваську – любое напоминание о родственных связях для нее – тоска смертная, любое проявление родственного тепла для нее – пустой звук.

– Ты сука, – выдохнула она в разом запотевшую, затуманившуюся трубку.

– Я в курсе, – парировала Васька все тем же надменным тоном. – Так ты вышлешь money?

– Если бы родители были живы...

– Если бы родители были живы, они бы уже давно умерли от горя. Месяца два как. Или три. Я права?

Тот давний петропавловский звонок накрыл ее в возрасте двадцати семи, Ваське соответственно только-только исполнилось семнадцать, и день рождения – 24 октября – пришелся akurat на черную дыру Васькиного четырехмесячного отсутствия. Как отметила днюху Васька – неизвестно. Она же провела этот день в полном одиночестве, на грани нервного срыва, среди фотографий покойной семьи (о-о, *покойной семьи!*). Собственно, на фотографиях, заготовленных по случаю, они еще не были семьей: улыбающийся тощий паренек в майке и со сколотым передним зубом, в руках – винтовка-мелкашка; снимок сделан в городском тире, и паренек и думать не думает, что станет отцом двух дочерей: одной – *мое загляденье* и другой – оторви и выбрось. Юная загорелая девушка с холщовой сумкой из Гагр (хит сезона) тоже улыбается. На сумке плохо пропечатанный оттиск квартета **АВВА**, кавказская интерпретация лиц не имеет ничего общего со шведским оригиналом: две утрированные копии Пугачевой времен песни «Арлекино» (женская часть квартета), мужская представляет собой разные ипостаси актера Бубы Кикабидзе. Она так никогда и не узнала, как мама относилась к Бубе Кикабидзе. И не узнает. Есть много вещей, узнать которые ей не суждено. Мама и лошади, например. Или мама и кабельное телевидение. Или мама и мексиканская кухня. Или мама и всегдашние Васькины эскапады.

Мамы давно нет.

Мамы давно нет, а сумка с кавказско-шведским квартетом осталась, она и сейчас лежит на антресолях, набитая осколками их прежней счастливой жизни, так и есть: их прошлая жизнь была счастливой.

Васька придерживается на этот счет другого мнения.

Она никогда не уточняла, какого именно: *другого*. И все тут. Мнение Васьки всегда диаметрально противоположно ее собственному мнению.

Наша прошлая жизнь была счастливой? – ни хрена не была!

Собака – друг человека? – ни хрена не друг!

Текила – лучший напиток? – ни хрена не лучший!

Сосите пиво и берегите лес от пожара.

Васька так и не простила родителям их ранней гибели. Раннего ухода. Раннего побега. Паренек в майке со сколотым передним зубом и юная загорелая девушка (на голову выше паренька и лет на семь старше, если совместить обе фотографии) – та еще парочка романтических недотеп, немудрено, что они разбились.

Ей было шестнадцать, когда это произошло. А Ваське стукнуло шесть. Возможно, шестилетняя Васька именно так и представляла их гибель, их уход, их побег: загорелая девушка и паренек в майке на ангельском велосипеде с жесткой рамой. Велосипед несется прямо в небо, под шинами хрустят звезды, ветер треплет волосы, а винтовка-мелкашка потеряна по ходу.

Возможно, именно так, хотя все было по-другому: они погибли очень взрослыми, состоявшимися людьми, не имеющими ничего общего ни с пареньком, ни с девушкой. За рулем «Форда» сидела порывистая мама, но если бы даже сидел отец – ничего бы это не изменило. Лобовое столкновение с «КамАЗом», внезапно выскочившим на встречу, у них не было никаких шансов.

Никаких.

Она ни разу не дала повода усомниться в том, что лучшей дочери не сыскать, – не то что капризная, деспотичная уже в младенчестве Васька; она почти не болела, и не ломала рук и ног, и не приставала к старшим с циничным вопросом «откуда берутся дети?», она с легкостью проскочила переходный возраст, нисколько не заметив его проблем. Она не требовала сапог-ботфортов, как у Линды Эвангелисты, не шлялась по сомнительным диско-заведениям, ни разу (даже из любопытства) не мастурбировала в душе и безропотно переходила из класса в класс с хорошими и отличными оценками. Заставить себя через «не могу» учить алгебру и начала анализа – пожалуйста, заставить себя есть ненавистные гранаты для повышения гемоглобина в крови – да ради бога! Такой она была всегда.

Мика. Микушка. Мое загляденье – называл ее отец, только он. Микушкой она была для мамы, Микой – для всех остальных, теперь и не вспомнить, откуда что пошло. Или ей просто неохота вспоминать? «Необыкновенные приключения Дони и Микки» – привет из детства.

Глупое обезьянье кино.

Обезьянье – в самом прямом смысле, сюжет и держался на бессовестно неправдоподобных похождениях двух шимпанзе. Дони и Микки.

В качестве кумира – смешно сказать – она выбрала Микки.

Очеловеченного. Прямоходящего.

Микки, Микки, Микки.

Слегка трансформировавшись (Микки-Мики-Мика), имя прижилось. Приклеилось к коже,росло рыбьей чешуей, по-другому не скажешь. Если содрать чешую (вряд ли удастся сделать это без крови) – то проступит ее настоящее, то самое, что указано в паспорте – *Полина*.

Ее могли бы звать Полей или Линой, или Полинкой, или Линочкой, но нет же! – еще в детстве она настояла на Микки-Мики-Мике. Кажется, это был едва ли не единственный случай, когда она настояла на чем-то, проявила характер, обычно податливый и мягкий, как воск. Проявлять характер – была прерогатива Васьки. Васька делала это со страстью и надрывом, к месту и не к месту демонстрируя восхитительную склочность, фантастическую безбашенность, упоительное паскудство. Даже гибель родителей нисколько не повлияла на Ваську.

Нисколько – так хотелось думать ей.

И Васькино горе не шло ни в какое сравнение с ее собственным горем, горем старшей, почти взрослой дочери. Ее горе было всепоглощающим, осмысленным, *эксклюзивным*, она (не Васька) ездила в морг на опознание, она (не Васька) от начала до конца прошла весь ад похорон, она (не Васька) упала в обморок на кладбище, когда первые комья земли с глухим стуком ударились о крышку отцовского гроба – кто теперь будет звать ее *мое загляденье*?

Кто?..

Смерть делает людей несправедливыми. К себе и к другим, но больше к другим. Должно быть, Мика была несправедлива и к Ваське, вернувшейся от дальних родственников отца через неделю после похорон. Всю эту неделю, проваливаясь в забытие их прошлой счастливой жизни и раздавленная крошечным ужасом нынешней, она мучительно соображала, как сказать шестилетней сестре о том, что увидеть родителей ей больше не суждено. Никогда.

Ни-ког-да.

Мика не отличалась особым воображением – не то что Васька, – и потому не нашла ничего умнее, как сочинить стандартную историю о дальней командировке в другой город и

другую страну. Другая страна, пусть будет так. Для начала. А потом... Бог знает, что она придумает потом, когда скрывать правду станет невозможно.

Египет? – поинтересовалась Васька.

За год до этого они всей семьей ездили в Египет, и Васька едва не утонула в Красном море, заплыв туда, куда пятилетние обычно не заплывают. Ко всем несчастьям, они едва не опоздали на самолет, полдня проискав Ваську, которой вовсе не хотелось уезжать, а хотелось обернуться рыбой и поселиться в море навсегда. И другая страна так и осталась для нее Египтом. Больше ничем.

Египет? Ага. Пусть будет так. Для начала.

Стоило Ваське услышать про Египет, как ее паскудный характер развернулся в полную силу: это нечестно, сказала Васька, уехать вот так. Они уехали, чтобы стать рыбами, я знаю точно, зачем еще ездить в Египет, а ведь это я хотела стать рыбой – не они, я. И раз так, раз они такие – пусть не возвращаются.

Тогда Мика ударила бедную Ваську первый раз в жизни.

Ни секунды не сомневаясь, что Васька затаит зло и запрется в кладовке, как запиралась всегда, когда бывала с чем-то несогласна. Маленькая Васька могла сидеть в кладовке часами, и чтобы выудить ее оттуда, требовалось приложить усилие. Обычно это делала мама, теперь придется делать это самой. Теперь все придется делать самой.

Васька выползла из кладовки спустя довольно продолжительное время. И как ни в чем не бывало потребовала мороженого на ужин в качестве моральной компенсации за страдания. Пришлось сходить за вредоносным высококалорийным мороженым, повторяя про себя на разные лады:

бедная сиротка. Бедная, бедная сиротка.

– Так будет всегда? – поинтересовалась Васька. – Мороженое будет всегда?

– Не знаю, – Мика пожала плечами. – Не знаю.

Пусть они подольше не возвращаются из Египта. Я согласна.

Она могла бы ударить Ваську второй раз в жизни. Но сдержалась.

О смерти родителей Васька узнала вовсе не от нее. Она кормила сестру рассказами про Египет несколько месяцев, пока хватало сил на вранье, на сочинительство одних и тех же телеграмм без обратного адреса в духе: «Задерживаемся неопределенное время любим скучаем будьте умницами ваши мама папа». Ни мама, ни отец никогда бы так не написали, что сделали бы они, окажись вдали от своих девочек? Мика не знала этого, не могла даже представить, предыдущие их разлуки были мимолетны, кажется, они вообще не расставались, они всегда были вместе: мама-папа-Васька-она, а краткосрочные командировки отца и несколько поездок мамы на историческую родину в Переславль-Залесский можно и вовсе сбросить со счетов. Да, именно так: они не расставались, и эта их разлука была первой. И обещала продлиться всю жизнь.

Дядя Пека – вот кто раскрыл Ваське глаза на произошедшее.

Дядя Пека, или Павел Константинович, ученик их с Васькой деда, друг маминой юности: мама вполне могла выйти замуж за него, а не за парнишку в майке и со сколотым передним зубом. Могла – но не вышла, а дядя Пека так и остался дядей Пекой, никем иным. Из друга маминой юности он плавно переключался в разряд друзей семьи – приобретение тем более ценное, что у их семейства с друзьями и родственниками было не густо: дальняя родня отца в Тосно и полумифические тетки мамы в Переславле-Залесском. Оба их рода – и материнский, и отцовский – преследовал странный рок, включающий ранние беспричинные смерти, нелепые несчастные случаи, были и самоубийцы, были еще задранные медведем и те, кого скинула лошадь, были не вернувшиеся из грибных лесов, был даже один утопленник. «Утопленник» – относилось к деду, тому самому, чьим учеником являлся дядя Пека. Родившейся много позже Ваське не удалось застать его в живых, она же смутно помнила монументальную фигуру деда.

И лицо, как будто высеченное из мрамора, и бороду, приводившую ее в священный трепет. «Карабас-Барабас» – с замиранием сердца думала Мика в раннем детстве, «Карл Маркс, да и только» – пришла она к выводу впоследствии. Карабас-Барабас был известнейшим в прошлом скульптором, главой целой школы, основателем целого направления, почетным членом множества академических сообществ. Он и сам числился академиком, и депутатом городского созыва, и кем-то там еще – кажется, орденосцем. Дедовская тяжелая трость с набалдашником в виде женской головы могла поспорить с трезубцем Посейдона по силе воздействия на окружающий мир. Трость была виновна в бесконечных питерских дождях и в штормовом ветре, идущем с Ладоги; по воле трости куцее северное лето сменялось затяжной непроглядной зимой, трость нашептывала деду линию поведения с родными, «космополитами и вшивыми диссидентами, уж я вас», относилось ли это и к ней, тогда еще совсем крохе, так и осталось невыясненным. Как остались непроясненными в ее сознании сложные взаимоотношения между дедом и мамой, лишь одно было очевидно: мама делала все наперекор дедовской воле. Возможно, это девичье мамино упрямство унаследовала Васька, отполировав до ослепительного блеска и сделав самоценным. Мама не вышла замуж за безответно влюбленного дядю Пеку, как того хотел дед, она предпочла перспективному начинающему скульптору голозадого инженера с нищенской зарплатой. Мама не стала искусствоведом, а устроилась на сезонную должность экспедитора в «Союзпушнине» – не особо обременительную, как раз такую, чтобы хватало времени на космополитизм и вшивое диссидентство. Мама, наконец, родила девочку (хотя дед страстно мечтал о мальчике, о внуке). Мало того, мама посмела назвать ее Полиной, в честь собственной матери, в то время как дед настаивал на имени Василиса, Васька. Странный выбор деда объяснялся присутствием в его жизни некоей натурщицы Василисы, чья мать тоже была натурщицей и всю юность провела в Париже, позируя самому Модильяни. О наличии натурщицы Мика узнала из писем своей бабки Полины: неизвестно кому адресованных и составленных в форме дневника.

«Эта сука В.» —

так и не иначе называла бабка давнюю соперницу, «*эта сука В.*» всплывала едва ли не на каждой странице; сука во фламинговом, бесстыже-розовом оперении порока, не русском и уж тем более не советском. Должно быть, в воображении бабки она была точно такой, какой утвердилась впоследствии и в Микином скудном воображении: психопатка, состоящая лишь из (привет Модильяни!) позвоночника, шеи и губ. Истеричка, плоская, как холст. Концептуальная уродина, не способная толком оплодотворить ни одно чувство, но заставляющая мужчин безумствовать, стреляться и создавать направления в искусстве. Только благодаря таким психопаткам, истеричкам и концептуальным уродинам были изобретены блюз и джаз. И еще речные трамвайчики, и еще фуникулеры, и еще дагеротипы, и еще зеленый глаз светофора, и еще рубашки с отложным воротничком, в вырез которых вечно забиваются мошकारа и густая пыльца с акаций.

Мика представляла «*эту суку В.*» парящей над эпохами в виде того самого холста. Холст был унизан кольцами. Холст был украшен сережками, цепочками и медальонами (всё – сплошь подарки ставших безумцами мужчин) – и потому легко трансформировался в воздушного змея, надменного, беспечного, свободного от войн и потрясений.

То, что в бабкином дневнике не нашлось ни слова о войнах и потрясениях, а царила только восходящая к началу времен, по-женски абсолютная ненависть к «*этой суке В.*», нисколько не удивляло Мику. Еще в переходном возрасте (никак на ней не отразившемся) она прочла достаточное количество книг, и в них только и было разговоров, что о любви, ненависти и абсолюте. Три этих понятия, слитые воедино, создавали сквозняк, постояв на котором, легко было заполучить простуду или того похуже. Или вовсе умереть.

Сквозняки подобного рода счастливо миновали Мику, даже когда она повзрослела и с ней вполне могли случиться и любовь, и ненависть, и абсолют. Могли – но не случились. Доб-

росовестно проштудированные в отрочестве алгебра и начала анализа подсказывали: *ты не такая, как бабка, мама или Васька и уж совсем не такая, как «эта сука В.»*, и все прочие суки, и все прочие праведницы, включая торговков бумажными цветами, женские манекены в витринах, шпалочкочелюстниц и стюардесс. Ты иная. Похожая внутри на Микки – очеловеченного, прямоходящего.

Не больше.

Ни один мальчик, ни один юноша, ни один мужчина ни разу не взволновал Микку, не заставил ее сердце биться чаще. Она с трудом выносила и женщин, о собаках, кошках и волнистых попугайчиках и говорить нечего. Единственным существом, к которому она питала чувство болезненной привязанности, была Васька. Сложись все по-другому, и она в одно прекрасное утро сумела бы стать для маленькой Васьки богиней. Богиней мороженого, например. Или богиней колеса обозрения. Или, на худой конец, просто и обыденно заменить ей мать и остаться в Васькиной повзрослевшей и благодарной памяти богиней самопожертвования. Но Микка упустила свой шанс. Даже о смерти родителей Ваське рассказала не она, а дядя Пека.

В первую годовщину после случившегося.

Командировка в Египет, растянувшаяся на триста шестьдесят пять дней, – что может быть глупее, что может быть нелепее? Тут даже эгоистичная и самодостаточная Васька начала страшно тосковать. Весь этот год Микка была занята сочинительством басен о маме в Каире и папе в Луксоре, стряпанием подложных телеграмм, сбором фальшивых посылок: для этой цели подходили копеечные безделушки из ближайшего к дому магазина «Бижутерия», жевательная резинка из соседнего гастронома и *открытки с видами*: их коллекцию удалось собрать после прочесывания букинистических. Прокол случился лишь однажды, когда Микка сунула в картонную коробку пять пиал, купленных на блошином рынке в трех кварталах от дома.

– Что это? – спросила Васька. – Маленькие тарелки? Зачем нам тарелки? У нас полно тарелок.

– Это не тарелки, – терпеливо пояснила Микка. – Это пиалы. На востоке все пьют чай из пиал.

– *А что такое восток?* – спросила Васька.

– То же, что и Египет. То же, что и другая страна.

– И мама пьет чай из этих пиал?

– И мама, и папа, и все.

– *И рыбы?* – цепкую Ваську все еще волновали рыбы, брошенные на произвол судьбы в Красном море.

– И рыбы, да, – соглашаться с Васькой нужно было по определению, и Микка соглашалась. – И не только чай.

– А что еще?

– Из них можно есть мороженое... Много чего можно...

Васька принялась сосредоточенно изучать египетские пиалы «от мамы», и только теперь (ну не идиотизм ли?) Микка заметила золотую, восхитительно русскую надпись на дне: «60 лет Каракалпакской АССР». Заметила ее и Васька.

– *Что там внутри?* – поинтересовалась она.

Никакого подвоха в голосе сестры Микка не услышала. Ваське было просто любопытно, и все. Каракалпакская АССР – другая страна? Каракалпакская АССР – часть Египта? В другой стране говорят на русском? Мама там, и, значит, все просто обязаны говорить на русском? И вообще, что такое Каракалпакская и тем более АССР? Запредельные, не поддающиеся никакому разумному объяснению вещи... И Микка сделала то, что делала обычно, что делала всегда: переложила всю ответственность на чужие плечи, в данном случае на плечи Васьки.

Прочти сама. Ты ведь уже большая девочка и умеешь читать.

Вместо того чтобы сосредоточиться на надписи, Васька вспыхнула, надулась и поплелась в любезную ее сердцу кладовку. Она просидела там много дольше, чем сидела обычно, и все это время в памяти Мики всплывали мелкие несуразности, связанные с чтением.

Васькиным чтением.

Она ни разу не видела Ваську с книжкой, хотя в доме было полно детских книг. В их прошлой счастливой жизни мама все время читала Ваське сказки – это Мика помнила хорошо. Папа отделялся четверостишиями из Маршака и Корнея Чуковского, она сама несколько раз попадала впросак, когда пыталась процитировать «Снежную королеву»: Васька моментально подмечала любую неточность, отсутствие любого предлога, любого, хоть раз упомянутого определения. Целые страницы текста отскакивали у нее от зубов. Но – только прочитанные вслух и не самой Васькой. Васька никогда не просила у Мики фальшивых маминых писем, не интересовалась конвертами с адресами, не изучала надписей на псевдопосылках, и почему она так всплыла, когда Мика уличила ее в равнодушии к чтению?..

А-а, все ясно.

Мика – преступная сестра, она совсем забросила Васькину подготовку к школе, а ведь Ваське почти семь. И если бы не Микино грозившее перерасти в манию желание скрыть от Васьки правду о гибели родителей, она смогла бы уделить гораздо большее время реальности. Той реальности, в которой Ваське вот-вот должно было исполниться семь. В которой ходил троллейбус № 12, в которой существовали счета за квартиру, свет и телефон, в которой день сменялся ночью, а осень – зимой. В которой существовали товарно-денежные отношения и просто отношения – между людьми. Нельзя сказать, чтобы реальность уж совсем не вторгалась в жизнь обеих сестер – вторгалась и еще как. В самом начале она явилась в виде двух расплывшихся теток из собеса и наробраза: их интересовала дальнейшая судьба Васьки, их обуревало неумное желание запихнуть Ваську в первый попавшийся детский дом. Они едва ли не со сладострастием сообщили Мике о том, что чертов детский дом – самая вероятная перспектива, поскольку родителей больше нет в живых, и очереди из желающих стать опекунами тоже не наблюдается, и вообще, э-э... барышня...

– Меня зовут Полина, – сухо поправила Мика. – И я в состоянии позаботиться о своей сестре.

– Вряд ли у тебя получится, дорогая, – тетки стали еще сладострастнее. – Ты и сама еще ребенок. Хотя... Если бы ты дала согласие на продажу квартиры и мастерской, то смогла бы обеспечить будущее себе и сестре. Конечно, дело это непростое и далеко не быстрое, но мы возьмем на себя все хлопоты...

До сих пор Мика не имела ничего против теток в возрасте. Больше того, две такие сумасшедшие поющие тетки были ее кумирами – Чезария Эвора и Tania Maria; а если покопаться, то можно было извлечь на свет божий и эбонитовую толстуху Эллу Фицджеральд. И Нину Симон в придачу – от первых тактов ее «DON'T EXPLAIN» Мике неизменно хотелось плакать, влюбляться, пить виски, носить пояс для чулок, цеплять матросов в несуществующих свинг-барах, пользоваться кремом от несуществующих морщин, эпиляторами и секс-уловками в стиле: «Кажется, у меня сломалась змейка на платье. Вы не взглянете, дорогой?» Босоногая Чезария и любительница шалей Tania вызывали сходные желания, за исключением матросов и эпиляторов.

Зато две собес-наробразовские фурии ничего, кроме ненависти и страха, не вызвали. У Мики хватило ума не впадать в клинч в их присутствии, но, как только за ними закрылась дверь, она набрала телефон дяди Пеки.

– Приходили двое, хотят забрать Ваську в богадельню. И отнять квартиру, – от волнения Мика слегка сгустила краски.

– Ничего не объясняй, я сейчас буду, – тут же отозвался чуткий дядя Пека.

Ничего не объясняй. *Don't explain.*

Конечно же он все уладил. Каким образом – Мика не знала, да и вдаваться в подробности ей не особенно хотелось. Неудачливый мамин воздыхатель, дядя Пека со временем переквалифицировался в удачливого управленца, забросил скульптурное поприще и преуспел на поприще административном. Кажется, он был не последним человеком в правительстве города, пересидел нескольких губернаторов и сам мог бы баллотироваться в губернаторы, если бы не сомнительное семейное положение. Народные массы с недоверием относятся к холостякам за сорок, а дядя Пека так и остался холостяком. Бобылем, не обремененным бывшими женами и внебрачными детьми. Иногда в шутку во время нечастых приходо в гости он называл своими внебрачными детьми Мику и Ваську – и это было правдой. Или почти правдой.

Ни Васька, ни Мика ни в чем не нуждались, опять же благодаря дяде Пеке. Для внутреннего пользования он наскоро слепил сказочку в духе «Снежной королевы» – о сверкающем и ослепительном состоянии, которое оставил дед и приумножили мама с отцом. Сказочка оказалась совсем не волшебной и едва ли унижительной; выросшая щепетильная Мика и подрастающая, анархически настроенная Васька поняли это много раньше, чем следовало бы: мама и отец так и остались бюджетниками, даже на единственную семейную поездку в недорогой Египет они копили несколько лет. Даже «Форд», на котором они разбились, был сильно подержанной двенадцатилетней колымагой. С дедом все обстояло сложнее. По советским меркам он был человеком совсем не бедным, но прежде чем утонуть, все свои сбережения завещал *«этой суке В.»*, последние лет сорок проживавшей в (кто бы сомневался!) несбыточном модильяньевском Париже. Маме, а впоследствии и Мике с Васькой, достались дедовы архивы, орденские книжки (сами ордена, вслед за дедом, уплыли в неизвестном направлении) и квартира с мастерской. Совсем нешуточные двести пятьдесят квадратов общей площади на Песочной набережной с видом на Малую Невку и заповедный Крестовский остров.

Тёртый дядя Пека рассуждал примерно так же, как и две фурии: квартира с мастерской – самый настоящий, несгораемый капитал. Но, в отличие от фурий, Павел Константинович был полон решимости оставить этот капитал за **бедными сиротками**.

Бедными, бедными сиротками.

Четко продуманный план по спасению сироток удался ему блестяще: ни фурии, ни кто-либо другой никогда больше не беспокоили сестер на предмет купли-продажи квартиры, не говоря уже об отъеме или уплотнении. И это в то время, когда в Питере шла самая настоящая война за квадратные метры. И люди, гораздо более защищенные, чем Мика с Васькой, сгорали, как свечки, и сплошь и рядом оказывались в безымянных могилах на безымянных кладбищах. *Без админресурса тут не обошлось* – так думала впоследствии Мика; админресурс она могла лицезреть едва ли не еженедельно – в образе дяди Пекиного телохранителя Гоши, привозившего деньги; в образе дяди Пекиного шофера Саши, привозившего еду. И Саша, и Гоша были в глазах Мики воплощением жутковатого мифа о Франкенштейне; робокопами, универсальными солдатами, кикбоккерами-3-искусство-войны, вампирами и оборотнями по совместительству. За толстогубой улыбкой Саши скрывались клыки, в идеальном проборе Гоши копошились горгульи, скарабееи-терминаторы и крохотные демоны посудомоечных машин. **Проблемы есть?** – всякий раз заученно бубнил Саша, **проблемы есть?** – всякий раз без выражения цедил Гоша.

– Проблем нет, – всякий раз с готовностью отвечала Мика.

Конечно же, проблемы были, и прежде всего с Васькой, но демоны посудомоечных машин не могли решить их по определению.

– **Если что – звони,** – так выглядело еженедельное напутствие кикбоксеров. – **И ничего не бойся.**

– Они могут всё? – однажды спросила Мика у дяди Пеки. – Они могут всё, эти ваши ребята?

– Всё, – дядя Пека сдержанно улыбнулся, в общении с бедными сиротками он выбрал именно эту тактику: сдержанность в проявлении любого рода эмоций. – Они могут всё.

– Тогда пусть вернут нам родителей.

Дядя Пека хмыкнул и надолго замолчал.

– Если бы это сказала твоя сестра, я бы понял. Но ты... Ты ведь уже большая девочка, Мика. И знаешь, что... Наверное, для всех нас будет лучше, если вы переберетесь ко мне. Хотя бы на время. Как ты относишься к такому предложению?

Дядя Пека уже высказывался в пользу великого переселения – сразу после похорон. И тогда Мика ответила ему так же, как ответила сейчас:

– Это исключено. А Васька... Васька даже не знает, что мамы и отца больше... больше нет.

– То есть как?! Столько времени прошло...

– Почти год, – безучастно подтвердила Мика.

– Почти год – и ты ничего не объяснила ей?!

– Нет. Я... Я не знаю, как это сделать...

– Что же ты говорила все эти месяцы?

Песок из якобы Красного моря, который Мика собирала на Заливе, а потом просеивала и просушивала на плите, пока Васька спала; дешевые, оставляющие налет на руках черноморские раковины с барахолки, *открытки с видами* – они говорили вместо Мики. Все эти месяцы. Проще было оказаться похороненной под слоем песка, проще было перерезать себе горло тупым краем раковины, чем открыть Ваське глаза на существующее положение вещей.

Во всяком случае, для Мики.

Дядя Пека думал совсем по-другому.

– Ты же понимаешь, что Ваське нужно все рассказать?

– Правда сейчас убьет ее...

– А вранье будет убивать всю оставшуюся жизнь. С правдой еще можно справиться. А вот с неправдой – большой вопрос, – дядя Пека неожиданно продемонстрировал удивительную для чиновника городского масштаба философичность.

– Васька... Васька еще слишком мала для правды.

– Но она вырастет и никогда тебя не простит. Нас не простит.

– Я не могу, – сказала Мика, тупо глядя перед собой. – Пусть ваши вампи... Пусть ваши Саша или Гоша скажут... Раз они могут всё. А я – не могу.

– Хорошо, я сам ей скажу. Не волнуйся, я сделаю это осторожно. Сделаю правильно. Она поймет. Сходи куда-нибудь... В кино, к друзьям – у тебя ведь есть друзья... Исчезни на полдня, а я постараюсь ей все объяснить. Хорошо?

Тогда она ничего не ответила. Она скорбно смотрела на дядю Пеку, а дядя Пека смотрел на нее. Взглядом, который она не раз замечала впоследствии: испытующим, изучающим, препарирующим. Раз за разом снимавшим шелуху кожных покровов, раз за разом распутывавшим нити кровеносных сосудов и отделявшим мясо от костей – в тщетном желании добраться до сути, до сердцевины. Чтобы увидеть там – в шелухе, в нитях, в романтическом гроте черепной коробки – то, что увидеть невозможно: юную загорелую девушку с холщовой сумкой из Гагр.

– Черт возьми, Мика!.. Ты совсем не...

– Я совсем не похожа на маму. Вы ведь это ищите во мне? Это, да?

– Ну что ты, девочка!..

Он лукавил, конечно же, лукавил. Так же, как лукавила сама Мика, часами разглядывая себя в зеркале. Она была похожа на мать, пугающе похожа, но это «пугающе» относилось как бы не к самой Мике, а к отдельным чертам ее лица: глаза, разлет бровей, высокие скулы; крупный, немного смазанный рот – все это было *мамино*. Ничего отцовского, ничего своего, копия с оригинала, не более. Потому и целостной картинке не возникло, потому и поразительно

точные детали никак не хотели складываться вместе. Если бы это нервировало только Мику – было бы полбеды, но это задевало еще и Павла Константиновича. Он хотел определенности, как хотел определенности всегда и во всем: либо ты не похожа на мать – и тогда ты просто Мика, дочь умершей подруги, слабая и нежная, вечно нуждающаяся в опеке, – и это еще можно пережить. Либо ты – новое воплощение матери; слабость и нежность остаются, зато желание опекать вытесняется другим: самым древним, самым могучим – ради него не грех вступить в реку второй раз и заново испытать судьбу.

Определенность наступила, когда Мике исполнилось восемнадцать: за какой-то месяц нерезкие и до сих пор непроявленные черты прояснились, намертво приклеились друг к другу, и старательная ученическая копия перестала быть копией. Она приобрела самостоятельную ценность и даже затмила оригинал. От этого нового – женского – сходства с матерью, от этой абсолютной идентичности впору было сойти с ума. К чести Мики, ей удалось сохранить здравый рассудок. Ей удалось, а дяде Пеке – нет. Впрочем, к тому времени он запретил ей называть себя дядей Пекой: *какой я тебе дядя, право? Васька – конечно, Васька пусть называет меня как хочет, Васька ребенок, и еще долго будет ребенком, а ты...* Мику не удивило это «а ты...», она и раньше предполагала, что «а ты...» когда-нибудь да наступит. Вопрос был лишь в том, что последует затем.

А ты... Ты так восхитительна, разве мог я подумать, мог представить? Вылитая Нина, просто бесовщина какая-то... Вот и не верь после этого в переселение души...

– Я не Нина, – как всегда мягко поправила она. – Я Мика.

Ну конечно – Мика. Мика, Микунка, моё загляденье, обещаю выслушать спокойно все то, что я скажу тебе, и не пугаться раньше времени...

Она пообещала, и человек, который запретил ей звать себя дядей Пекой и не придумал ничего взамен, торопливо и путано стал объяснять ей, как он влюблен в каждую ресницу, в каждый заусенец, в каждую родинку на ее теле; и в то, как она встряхивает волосами, и как она хмурится, и в ее милую привычку сидеть, поджав ноги по-турецки, – а он не старый, совсем не старый, в апреле ему исполнилось сорок три. *Только сорок три* – для мужчины это не возраст, и с большей разницей в годах люди прекрасно уживаются друг с другом, а ты...

Ты могла бы сделать меня счастливым, девочка.

– Что для этого нужно? – как-то уж чересчур по-деловому спросила Мика.

– Стать моей женой. Ты станешь моей женой?

– И только?

– Да. Одного этого будет достаточно.

Большого от Мики не потребуется, а уж он... Он сделает все, чтобы и ей, и Ваське было хорошо, ведь Васька будет жить с ними – это даже не обсуждается. До сих пор он ни разу не подвел ни Мику, ни Ваську, всегда был рядом, когда было нужно, *ведь так, девочка?*

– Да, – безвольно согласилась Мика.

Они ни в чем не нуждались все это время, он сумел защитить их, оградить от множества проблем, *ведь так, девочка?*

– Да.

– Ты станешь моей женой? Я понимаю, я застал тебя врасплох и потому не буду торопить...

– Вовсе нет. Вы не застали меня врасплох, – Мика даже удивилась своему спокойствию. – Я знала, что это произойдет.

– Значит, ты тоже думала об этом?..

Взрослый, сороклетний, легко справляющийся с кикбоккерами и универсальными солдатами, он оказался сбитым с толку. Застигнутым врасплох. Не она – он.

– И давно ты... об этом думала? И... как долго?

– Какое-то время.

Какое-то время. Шестнадцать минут. Она думала об этом ровно шестнадцать минут, но озвучить куцую цифру так и не решилась. Шестнадцать минут унизили бы все сильного дядю Пеку. А пространные объяснения унизили бы саму Мику. Объяснить – означало бы снова погрузиться в кошмар зеркального ателье, который она едва пережила. А ведь Мика не хотела ничего дурного – просто почистить зубы, оттого и сунула лицо в зеркало над раковиной.

Ничего экстраординарного. Так происходило каждое утро, и каждый вечер, и иногда в течение дня, когда нужно было избавиться от одинокого прыщика на подбородке или поэкспериментировать с тушью «Moonlight serenade»¹, купленной на базарном лотке «Всё по 10». Но то, что она увидела тогда в зеркале... В недрах Микиного воображения, тонкий плодородный слой которого был истощен созданием образа «*этой сучки В.*» и сочинительством писем от мертвых родителей, **это** родиться не могло. **Это** не могло родиться ни в чем воображении, а следовательно, было реальностью. Невидимые, потусторонние ангелы кройки и шитья с невидимыми булавками в невидимых ртах, с невидимыми сантиметрами на шеях управлялись с Микиным лицом так, как будто это был отрез ткани. Глаза из сатина, брови из шелка, велюровые вставки щек, атласные вытачки губ; здесь подвернуть, тут прострочить, там обметать – и главное, ни на йоту не отступить от выкройки. Чик-чик, вжик-вжик – вот оно и готово, платье мамино лица! Оно сидит на тебе как влитое, Мика! Из него не выбраться, Мика! Ты будешь носить его до окончания дней, Мика! Если тебе повезет, если Богу будет угодно и ты проживешь много дольше мамы, то увидишь, как оно изнашивается, залоснится, истлеет, но пока оно совершенно. Идеально подогнано. Платье для коктейля и платье для любви, и для увеселительных поездок на пикник тоже. Сидеть на веслах, сидеть в киношке на последнем ряду, рожать, покупать кинзу и укроп – оно для всего сгодится. Ну-ка, проверь – нигде не жмет, Мика?..

Нигде.

К исходу шестнадцатой минуты все было кончено: из зеркала на Мику смотрела мама. Такая, какой Мика помнила ее по девичьим фотографиям. И, вероятно, такая, какой ее полюбил дядя Пека и позже отец. Новое, выплывшее из невнятных глубин прежнего, лицо не прибавило Мике ни знаний, ни опыта. Оно лишь слегка изменило угол зрения. На всё.

– ... И как бы вы хотели, чтобы я вас называла? «Павел Константинович»?

– Слишком официально и слишком длинно, девочка. Ты могла бы звать меня Павлом. Для начала. Потом... Э-э... когда мы познакомимся поближе... Когда ты доверишься мне... Возникнет что-нибудь другое.

Не возникнет, подумала Мика. Не возникнет, а жаль. Павел Константинович или просто Павел – не самый худший вариант, далеко не худший. Если оставить за скобками его положение и обратиться лишь к внешним данным, которые так ценятся молодостью, то и здесь он выше всяких похвал. Высокий, поджарый, совсем не похожий на чинушу, скорее на горнолыжника или автогонщика-профессионала в их гламурной, рекламирующей пену для бритья ипостаси. Дозированная во все той же гламурной пропорции седина, никаких суетливых мелкотравчатых морщин под глазами – одна основательная складка на лбу и одна на подбородке. Плейбой, умница, *лев зимой*, шикарный мужик – ни одно определение не было бы избыточным. Даже странно, что, обладая такой харизмой, такой потрясающей фактурой, Павел Константинович безнадежно влип – сначала в ее мать, а потом в нее саму. Впрочем, насчет себя Мика не обольщалась: это всего лишь платье.

Платье мамино лица.

На мне оно выглядит даже лучше, чем на маме, подумала Мика. Во-первых, ей восемнадцать, и, глядя на нее, Павел Константинович возвращается в свои восемнадцать, в худшем случае двадцать – именно тогда они с мамой познакомились. А кто откажется вернуться в

¹ Серенада лунного света (англ.).

молодость, хотя бы ненадолго? Никто. Тем более что в случае с Микой это возвращение может затянуться на годы. Во-вторых...

Множество аргументов в пользу второго пункта Мика пропустила и сразу перешла к третьему. Убийственному. Восемнадцатилетняя мама зависела от Павла гораздо меньше, чем восемнадцатилетняя Мика, она ничем не была ему обязана. Благополучие же Мики и Васьки держалось исключительно на плечах Павла Константиновича, он был главным божеством Мики-Васькиной жизни. Зевсом, Одином, солнцеликим Ра. Что еще она забыла?.. Ага, *верховный жрец Каракалпакской АССР*, солнцеликий легко бы справился и с этой ролью. Абсурдная, хотя и не лишённая живости мысль о Каракалпакии со дна пиалы придала Мике сил.

– ... Не возникнет. Не возникнет ничего другого, Павел Константинович.

– Почему, Нина? – брякнул он.

– Я не Нина, – она поправила его со всей деликатностью, на которую была способна. – Как бы вам ни хотелось, я не Нина.

– Конечно, нет... Прости меня. Прости, девочка.

– Не нужно. Я понимаю. Все из-за лица, оно кого угодно введет в заблуждение. Я понимаю и не обижаюсь.

– Ты чудо. Хотя так ничего и не ответила мне... Я могу надеяться? Пусть не сейчас – потом...

– Когда вам исполнится сорок четыре?

– Желательно, чтобы это произошло раньше.

Не произойдет, подумала Мика. Не произойдет, а жаль. Искушение, с которым она готовилась бороться, прошло стороной. А как было бы прекрасно – подчинить себе непоправимо взрослого, наделенного нешуточной властью, ворочающего немаленькими деньгами мужчину! Вертеть им, заставлять ревновать по самым ничтожным поводам, приучить исполнять любой каприз, выцганить у него на лето бело-синий греческий остров Санторин и там и остаться. Или наметить в жертву другой остров и все равно остаться: девочкой, инфантой, чудом. Для него, *Павла*, а не для сопляков-ровесников в синтетических плавках, с преющими под ними нищими пенисами. Если к восемнадцати годам она не удосужилась даже влюбиться, то какая разница – кого не любить? Павел Константинович куда предпочтительнее любого сопляка и синтетику уж точно не напаялит.

Но так свойственная Мике прагматичность дала сбой. Все из-за изменившегося угла зрения, на Павла Константиновича в частности. Мика точно знала, что поступит так же, как в свое время поступила мама.

Вежливый отказ – вот что ожидает всесильного Павла.

Вежливый отказ.

– ... Хорошо, я не буду ждать, когда вам исполнится сорок четыре.

– Ты готова дать ответ сейчас?

– Да.

– И что это... будет за ответ?

– *Нет*.

– Я дурак, – только и смог выговорить Павел Константинович. – Круглый дурак, вылез со своим предложением... И даже не удосужился спросить... У тебя кто-то есть? Какой-то симпатичный парень?

Угол зрения.

Под этим углом Мике было хорошо видна горизонтальная морщина на лбу Павла Константиновича. И представить, что находится там, за восхитительно ровными краями морщины, тоже не составило особого труда: несколько разумных мыслей по поводу самой Мики и ее гипотетического парня. Ни один парень не даст тебе того, что смогу дать я. Твой парень, Мика, наверняка ездит на метро и стреляет у однокурсников по не самому престижному вузу деньги

на пивасик. Его главные переживания связаны с провальной игрой «Зенита» в обороне и еще с тем, как скрыть от тебя триппер, случайно подцепленный на интернациональной вечерине «Yankee, go home!». Он никогда не будет заботиться о твоей сестре, а о ней, учитывая ее состояние, нужно заботиться. Ежедневно, ежечасно.

Что касается синтетических плавок... О них и говорить нечего.

– Нет. Парня у меня нет, – сказала Мика. – Но это ничего не меняет.

– И не изменит в дальнейшем?

– Не думаю, чтоб изменило.

– Ты еще больше мама... Еще больше Нина, чем я предполагал.

Самое время выставить счет, Павел Константинович, подумала Мика. За неприкосновенность квартиры, за безбедное существование на протяжении двух лет, за Сашу и Гошу, за деликатесы из дорогих супермаркетов, а главное – за Ваську. Мика никогда не забывала, что именно он, Павел Константинович, взял на себя трудный разговор о смерти родителей. Наверняка этот разговор потребовал гораздо большей изобретательности, чем вся Микина ложь – дядя Пека (тогда еще дядя Пека) отличился и тут: он не подставил Мику, не выдал ее. Отсутствие вероломства – вот что делало Павла Константиновича непохожим на Зевса, Одина и солнцеликого Ра. И на всех остальных богов, только и умеющих, что выставять счета в самый неподходящий момент. Быть может, он останется верен себе и сейчас – и санкций за дерзкое Микино «нет» не последует?..

– ... Со временем я верну все деньги, которые вы на нас потратили, – это было не менее дерзкое, а главное – ни на чем не основанное заявление.

– Не нужно меня обижать, Мика.

Проклятье, он действительно остался верен себе. Он был даже более благороден, чем когда-либо, и от этого благородства Мику затошнило.

– Я считаю, что будет справедливым...

– Справедливо, когда сильный помогает слабым. И когда мужчина берет ответственность за женщину...

И уступает в трамвае место пассажирам с детьми и инвалидам, подумала Мика. Ей хотелось, чтобы Павел Константинович ушел, умер, разложился на атомы, пал бы к ее ногам цветком анемона – или (пусть его!) снова обернулся бы дядей Пекой, тотемным столбом их с Васькой благополучия. Но Павел Константинович вовсе не желал раскладываться на атомы, он все вещал и вещал о справедливости и бескорыстии, а потом (как это бывало обычно) переключился на Ваську.

– Я нашел замечательного специалиста, Мика. Он обещал посмотреть Ваську в самое ближайшее время. Конечно, это редкое заболевание...

– Васька не больна.

– Извини, я хотел сказать редкая психологическая особенность...

Дислексия – вот как называлась редкая психологическая особенность, Васька была просто не способна читать и усваивать прочитанное. И совершать другие действия, хоть как-то связанные с чтением, письмом и их производными, – решать примитивные задачки, например, когда от нарисованной пятерки нужно было отнять нарисованную единицу, чтобы в сумме получилась нарисованная же четверка. Васька легко проворачивала математические операции в уме и на слух, она с неподражаемым изяществом манипулировала яблоками, конфетами или косточками от вишен. Но графическое изображение цифр, букв и символов оставалось для нее недоступным.

Запертый сад.

Возможно, у маленькой Васьки были другие ассоциации по этому поводу, но Мика представляла себе именно запертый сад с деревьями, почти библейскими стенами; упоительные фразы в плащах с красным подбоем бродили по его дорожкам, простодушные считалки и ско-

роговорки расставляли силки для птиц, двузначные и трехзначные числа играли в крикет, объедались сахарной ватой и выстраивались в очередь на аттракцион «Только у ангелов есть крылья». А Васька, несчастная Васька, не могла даже одним глазком взглянуть на все это великолепие – просто потому что в древних, почти библейских стенах не было ни одного пролома, увитого плющом, ни одной щели, заросшей терновником. Ни одного пролома. Ни единого.

И никакой надежды на то, что ситуация хоть когда-либо изменится. Таков был вердикт первого психиатра, которому они с дядей Пекой показали Ваську. Все последующие лишь подтвердили сочувственное медицинское заключение, а вариации на тему были незначительны:

это – врожденное;

это – приобретено вследствие душевной травмы или сильного психического потрясения;

это – можно слегка подкорректировать, если сама девочка будет стараться;

это – неизлечимо.

Васькина дислексия была тотальной. *Крайняя, редко встречающаяся форма*, как выразился все тот же Первый Психиатр. Васька не просто не могла собрать воедино несколько стоящих рядом букв – она не воспринимала их в принципе. А все попытки выведать, что же конкретно видит Васька, наталкивались на глухую враждебность.

Девочка совсем, совсем не хотела стараться.

Поначалу она еще принимала участие в душевспасительных беседах Мики на заданную тему, плела небылицы о хорьках («я вижу хорьков»), воздушных шарах («я вижу шарики – два синих и один красный»), о кальянах, коралловых рифах и верблюжьих гонках по пустыне. Но чаще всего, по утверждению Васьки, она видела рыб. Рыбок, рыбешек, рыбин и сопутствующую им мелкую фауну, что-то вроде дафний и морских кольчатых червей. Рыбы, рыбешки, рыбины вязали крючком и плели кружева, нежились на пляже, ели пиццу, стреляли из подствольного гранатомета (сведения о гранатомете были выужены Васькой из какой-то телевизионной программы) и вообще – занимались самыми экзотическими вещами. На рыбах Мика сломалась. Она больше не могла слушать про склизких мокрых тварей, обитающих в книгах, в сетях уличных вывесок, на рекламных афишах и в программках театра «Русская антреприза» – время от времени в их почтовом ящике оказывалось и такое счастье. Себя Мика представляла доверчивой дурочкой, с ног до головы облепленной слюдяными пластинами с запахом тухлятины, в то время как хитрая Васька возвышалась над ней в защитной капсуле из рыбьего пузыря.

Такую не ухватишь. Такую за рубль двадцать не купить.

Ты врешь, уличала она Ваську, почему ты всегда врешь? Почему ты отказываешься мне помочь?

Потому что ты мне не нравишься.

Васька всегда умела находить именно те слова, которые уводили Мику от магистральной линии и погружали в долгие и муторные выяснения отношений: зачем ты так, Васька? Это несправедливо, Васька, мы с тобой сестры и должны быть заодно, у нас никого нет, мы одни на целом свете, только ты и я, и уж будь добра...

Васька упрямо молчала, и, глядя на ее жесткие вихры, на резкие скулы, на плотно сжатый, совсем недетский рот, Мика понимала: доброй Васька не будет никогда.

Во всяком случае, к ней, Мике.

– А ты? Ты себе нравишься? – каждый раз спрашивала Мика, заранее зная ответ.

– Очень.

– Тогда ты должна помочь... пусть не мне, я ошиблась. Не мне – себе. Ты ведь не хочешь, чтобы так продолжалось дальше? Ты пропустила год... Не захотела учиться...

– Ну и что?

– Ты ведь собираешься ходить в школу и много знать?

– Нет.

– А друзья? Если все останется как сейчас, если ты не пойдешь в школу – у тебя не будет друзей.

– У меня будут друзья. У меня есть друзья. . .

– И ты вырастешь неграмотным и неинтересным человеком. А такие никому не нужны.

– Нужны. Ты сама дура, Мика. И это ты – ты никому не нужна!..

В этом была доля истины. Единственного человека, который остро нуждался в Мике – Павла Константиновича, – больше не было рядом. Вскоре после неудачного разговора о любви, заусенцах и грядущем сорокачетырехлетию он уехал из города – то ли в Испанию, то ли на Кипр. Командировка, по его словам, была краткосрочной, как и все его – довольно частые – командировки, но из нее он так и не вернулся. Саша, привезший очередную – и последнюю – порцию деликатесов, туманно намекнул Мике: Хозяина шлепнули. Гоша, привезший очередную – и последнюю – порцию денег, сказал открытым текстом: тело изуродовано так, что мама не горюй, вместо лица – кровавое месиво, запястья обеих рук сломаны, в груди несколько ран различной величины: от фасоли до грецкого ореха. В связи с произошедшим шерстят массу людей в подотчетной Хозяину госструктуре. И кто-то из этих людей может присесть – и надолго. А сам Гоша в срочном порядке увольняется, он уже нашел себе непыльную работенку у организаторов клубных вечеринок на заброшенном оборонном заводе. И если Мика заинтересуется, он может оставить адресок завода, первый бокал martinis – за его, Гошин, счет.

Демоны посудомоечных машин враз покинули Гошу, следом за ними потянулись горгульи и скарабеи-терминаторы – от бывшего очарования универсального солдата не осталось и следа.

– Если что – звони, – сказал Гоша, впервые оглядывая Микину фигуру заинтересованным некорпоративным взглядом. – И ничего не бойся.

– Ага, – вяло отреагировала Мика.

Она могла бы еще набрать номер кикбоксера, но вышибалы в ночном клубе – никогда.

Бедный дядя Пека.

Бедный, бедный – кем бы он ни был самом деле. Она знала его как солнцеликого Ра, достойного компаньона **бедным, бедным сироткам** – и вот пожалуйста, Солнцеликого больше нет. Ненамного же он пережил маму и совсем ненамного – свои чувства к Мике. Бедный, бедный – кажется, Мика произнесла это вслух, как только Гоша покинул ее, насильно сунув в руки бумажку с адресом феерического оборонного вертепа. Ей было грустно и хотелось плакать, и в то же время она ощущала странное облегчение. Никто больше не будет доносить ее своими признаниями, и можно снова безнаказанно встряхивать волосами и сидеть, сложив ноги по-турецки, – а ведь с некоторых пор она запретила себе это. Теперь запрет снимается, а деньги, переданные Гошей. . .

Она торжественно поклялась, что никогда к ним не прикаснется.

И оказалась клятвopеступницей ровно через месяц.

Пухлый (много толще обычного) конверт был вскрыт ночью, когда Васька мирно спала, а Мику мучила бессонница. Фасоль и грецкие орехи – только это и лезло ей в голову все последнее время. Фасолины с мягкими, сочащимися сукровицей отростками, битая скорлупа; сколько бы она ни пыталась вспомнить лицо Павла Константиновича – выплывали лишь проклятая фасоль и орехи, перемолотые в пыль. *Кровавое месиво*, как выразился Гоша. Если приправить его чесноком, горчичным соусом и майораном – получится сносная закуска.

В конверте лежали три пачки стоцолларовых купюр – десять тысяч в каждой, итого тридцать. Сумма совершенно запредельная, до сих пор дядя Пека не был таким щедрым. И кроме денег, в конверте находилось еще кое-что: конверт поменьше, в такие обычно вкладываются валентинки, прощальные послания самоубийц или беззубые, плохо пропечатанные прокламации в духе арт-хауса: «Гори, Голливуд, гори!»

«Моим девочкам. Берегите себя».

Вот тебе и Голливуд.

К записке были пристегнута узкая бумажка, в которой даже неискушенная Мика признала банковский чек. Крошечный логотип (морской конек), утомительно длинный номер счета – на этом *понятное* заканчивалось. Непонятными оставались название банка, начинавшееся с «Deutsch» и само появление чека в конверте, ведь и тридцати тысяч, по разумению Мики, было более чем достаточно. За каким дьяволом нужен чек какого-то поганого немецкого банка? В Германию она не собирается и вряд ли когда-нибудь соберется, она и за пределы Питера выезжала только раз, в их единственное египетское лето. И потом – они с дядей Пекой никогда не говорили о Германии. Занятая мыслями о *deutsch*, Мика не сразу обратила внимание на цифру, проставленную в чеке —

1 000 000,

алгебра и начала анализа подсказывали – миллион, миллион! Есть от чего прийти в крайнюю степень волнения, но и особого волнения Мика поначалу не ощутила. Скорее недоумение, а потом и злость. Тридцать тысяч долларов еще можно было как-то переварить, как-то объяснить себе, а вот миллион...

Лишние неприятности, вот что такое миллион.

Лишние неприятности, бесплодные ожидания, напрасные мечты.

Миллион опасен. Единица того и гляди проткнет тебя своим острием; провалиться в круглую полынью нуля – плевое дело, а их здесь целых шесть. Как они образовались – неизвестно, куда могут утянуть – неведомо, а Мика – робкая, пугливая и совсем не авантюрная Мика – точно не всплывет.

Целый час Мика уговаривала себя расстаться с чеком, еще час искала место упокоения его бумажной души – и ничего лучше сумки из Гагр не придумала. В принципе, чек можно было спрятать где угодно: из двухсот пятидесяти квадратных метров как минимум двести тридцать годились для тайника. Но... этими двумястами тридцатью владела Васька. А от вездесущей Васьки ничего не скроешь, единственный уголок, куда она точно не сунется, – сумка с осколками их прошлой счастливой жизни. Вот уже год (с тех пор как Васька узнала о гибели родителей) на все воспоминания было наложено табу. И Васька так ни разу и не посетила погост с могильными плитами серого и красного фотоальбомов. В сером было много мамы (до того, как она стала мамой), и много деда, и дедовых давно умерших приятелей-академиков; и дедовых учеников – юных бородачей, всех, как один, влюбленных в маму. Кажется, там был даже дядя Пека, единственный небородатый. И Микина бабка Полина тоже была, и полумифические мамини тетки из Переславля-Залесского – в обнимку с краснофлотцами. Не наблюдалось лишь «*этой суки В.*», но Мика пребывала в уверенности: она где-то да есть. Зашифрованная в ребусе солнечных пятен на полу террасы, поблизости от деда, поблизости от бабки – недаром тень, которую они отбрасывали, всегда была двойной.

В сером – «мамино» – альбоме царил образцово-показательный открыточный июль, там правили бал южные веранды, инжир, мандарины, ласточкины гнезда, юные бородачи и краснофлотцы.

Красный.

Красный альбом был всецело папиным, и еще Микиным, и еще Васькиным: семейным. Последние шесть листов занимали египетские снимки, а в самом конце, между последней страницей и обложкой, лежала непрозрачная папка.

Фотографии с похорон.

Никакая сила не заставила бы Мику открыть папку, а даже если бы заставила, то и на этот случай имелась подстраховка: все фотографии в папке лежали вниз лицом. Именно в эту папку Мика после недолгих раздумий сунула чек.

Упс. Можно считать похоронила.

По-хорошему в запретную папку следовало отправить и записку, чтобы иллюзия упавших с неба тридцати тысяч была полной. Это совсем не означало, что неблагодарная Мика решила вычеркнуть из жизни их с Васькой благодетеля, просто...

Так будет спокойнее.

Общение с дядей Пекой носило частный характер; то, чем он занимается вне стен их квартиры, мало интересовало Мику, а сам он никогда не распространялся на этот счет. Чиновник – да, крупный пост в правительстве города – да, вот и все скучные штрихи к биографии. Не случись командировки с летальным исходом – штрихов бы не прибавилось. Теперь же Мика была вынуждена считаться с темной стороной жизни солнцеликого Ра. Она и сама переметнулась на эту сторону, взяв у Гоши конверт с деньгами.

Гоша.

Он откровенничал не только о фасоли и орехах в груди покойного, не только о *кровавом месиве* лица. Были и другие откровения: в связи со смертью Хозяина шерстят массу людей. Не исключено, что масса станет критической, – и тогда придут к ней, Мике. Робкой, пугливой, совсем не авантюрной Мике. К чему это приведет – Мика не знала.

Не думать, не думать, не думать. Запретить себе думать!

Лучше думать о том, что Гоша, памятуя о славном кикбоксерском прошлом, не выдаст ее и не укажет на тропинку, ведущую к ее дому. У него хорошее лицо, и обнадеживающий, без малейшего изъяна, череп, и губы, как у американского актера Грегори Пека, а Грегори Пек никогда не играл злодеев. Первый бокал martini за его, Гошин, счет – так выглядело предложение, которое ни за что не назовешь непристойным.

Он не выдаст Мику.

И потом он просто привез деньги. Он делал это не раз, еще при жизни хозяина, он сделал это и после смерти.

Кстати, почему он сделал это?

Хозяина больше нет в живых, а Мика вовсе не ждала этих денег, как не ждала их никогда, она могла и вовсе не узнать о них. Ничто не мешало Гоше присвоить содержимое конверта, тем более что конверт был много толще обычного. А Гоша даже не заглянул в него, Мика была почти уверена в этом: тридцать тысяч и анонимный чек на миллион – слишком большое искушение. Вряд ли бы Гоша удержался, никто бы не удержался. Значит, существовала причина, по которой а) Гоша не сунулся в конверт и б) сунулся, но не рискнул вытащить деньги. Существовало нечто гораздо более опасное, чем цифра на чеке. Не для нее – для телохранителя Солнцеликого. Что-то такое, чему он беспрекословно подчинился. И сам Гоша не так прост, как кажется. Обнадеживающий, без малейшего изъяна череп тоже может ввести в заблуждение, а что касается Грегори Пека... Он все-таки играл злодеев.

«Мальчики из Бразилии». Доктор Менгеле.

Так почему Гоша все-таки передал деньги?

Не думать, не думать, не думать. Запретить себе думать! Вдох-выдох, выдох-вдох, вот так, хорошо!.. запретить себе думать о банковской провокации и обо всем, что касается темной стороны жизни Павла Константиновича – и тогда все закончится ко всеобщей радости, ко всеобщему умиротворению.

Аутотренинг действовал пять минут – столько времени понадобилось Мике, чтобы вернуться в свою комнату, открыть конверт и вытащить записку. За время ее отсутствия клочок бумаги претерпел некоторые изменения, а именно – на обратной стороне обнаружили телефонный номер и имя:

Тобиас Брюггеманн.

В их микрорайоне не было ни одного Тобиаса. Вряд ли большое количество Тобиасов сыскалось бы и во всем городе, а сдвоенная в нескольких местах фамилия напрямую отсылала к Германии, о которой они с дядей Пекой не говорили. Никогда. Проклятый *deutsch!*.. Мика

попыталась успокоить себя тем, что неведомый Тобиас вполне может оказаться специалистом по дислексии. Нужно только набрать номер – и всё прояснится.

Набрать номер, как же! Ищите дурачков!

Даже начертанный успокаивающей рукой дяди Пеки, номер не внушал Мике доверия. Он был слишком длинным (четырнадцать цифр или около того) и к тому же начинался на 8 104...

Не Питер и не Москва, тогда что? Кирибати, Кабо-Верде, Клермон-Ферран?

Deutsch – и к гадалке не ходи.

Мика понятия не имела, что ей делать с Тобиасом Брюггеманном, а дядя Пека не оставил на этот счет никаких инструкций. Как не оставил никаких инструкций насчет логотипа с морским коньком. А если инструкций нет у нее – может быть, они есть у Тобиаса? По обналичению чека, к примеру. Милое дело! Она звонит Тобиасу и сообщает, что она – Мика из Петербурга, давняя знакомая Павла Константиновича Башлачева, и у нее случайно оказался номер, и ей зачем-то нужно связаться с господином Брюггеманном, это ведь господин Брюггеманн, не так ли?..

Она не будет звонить.

Она забудет обо всем. Сейчас же.

Чек надежно похоронен в папке, туда же отправится телефон Тобиаса Брюггеманна и сам Тобиас. Живи спокойно, дорогой, и дай бог, чтобы с тобой не случилось то же, что случилось с дядей Пекой. Я забыла – и ты забудешь. Нет чека, нет номера из четырнадцати цифр – нет и никогда не было.

А теперь спать.

* * *

...Последующие несколько месяцев Мика провела в тревожном ожидании. Ей то и дело мерещились слезка, прослушка и многозначительное эфэсбэшное побряхтывание на лестничной площадке. Но никто напрямую не беспокоил ее, и со временем напряжение спало. *Пронесло*, решила Мика и сосредоточилась на текущих проблемах. Их было больше чем достаточно, и главная заключалась в Ваське. Васька всегда отличалась неуправляемостью и вздорным характером, а выведенная на чистую воду дислексия сделала ее и вовсе невыносимой. Будь Мика не такой правильной, не такой стерильной, не такой бесчувственной, заведи она любовника, заведи она подругу, заведи она пса – невыносимость Васьки проявилась бы в полный рост, Мика несколько в этом не сомневалась.

Пункт первый – любовник. Васька непременно водила бы своих малолетних дворовых приятелей глазеть в щелку на плотские утехы Мики и ее любовника. Последующее обсуждение увиденного... хм-м... мало отличалось бы от текстов грузчиков из ближайшего гастронома.

Пункт второй – подруга. Васька непременно совала бы в ее сумку стриженные ногти, сопливые носовые платки и пучки волос с расчески.

Пункт третий – пес. То, что могла бы сделать Васька с гипотетическим Микиным псом, и представить себе страшно: срезанными под корень усами он бы точно не отделался.

Мудрая Мика обезопасила себя со всех сторон, она выкорчевала все корни, она выворотила все камни, она уничтожила всех медведок и колорадских жуков, она разрыхлила и аккуратно разровняла почву: если когда-нибудь Васька устанет от беспричинной ненависти к ней и решит двинуться навстречу – ее маленькие ножки побегут по мягкой земле безо всякого усилия, она не поранится, и не наколет пятку, и не собьет большой палец, и не оцарапает лодыжку.

Но все горе, вся беда заключались в том, что Васька не хотела двигаться Мике навстречу. Решительно не хотела. Она равнодушно глотала завтрак, обед и ужин, приготовленные Микой, равнодушно выслушивала Микины страшилки по поводу грядущей школы, и с некоторых пор стала отказываться от чтения вслух. «Чтение вслух» оставалось единственной формой зависи-

мости Васьки от старшей сестры, «чтению вслух» были посвящены ежедневные полтора часа перед сном. Мика перетаскала к Васькиной кровати половину книжного шкафа, она уже покончила с Шарлем Перро и перешла к Андерсену, когда услышала от Васьки:

– Я больше не хочу.

– Чего не хочешь?

– Чтобы ты мне читала.

– Хорошо, – вечерняя Мика отличалась еще большей покладистостью, чем Мика утренняя и Мика дневная. – Если ты устала сегодня, мы продолжим завтра. Согласна?

– Завтра тоже не приходи, – Васька отвернулась к стене и сунула голову под подушку. – Никогда не приходи.

– Как скажешь.

Такой реакции Мика от себя не ожидала. Слезы, увещевания, призыв к здравому смыслу, апелляции к родственным чувствам – вот что должно было последовать за Васькиным демаршем. Но Мика устала. Если Васька окончательно решила отделиться, перегрызть зубами те немногие нити, что связывали их, – пусть. Делай что хочешь, солнце мое. А Мика устала. Выбилась из сил. Окончательно сдалась на милость победителя.

Победителем в данном случае была кладовка, разросшаяся до размеров вселенной. Теперь полтора часа перед сном, традиционно принадлежавшие «чтению вслух», Васька проводила именно там. Полтора часа – не больше и не меньше – каким образом Васька точно определяет время, Мика не знала. Как не знала, что происходит за дверью кладовки. Сидя на полу в коридоре и прикрыв глаза, Мика представляла крошечную, утробную темень и свою маленькую сестру в самой сердцевине этой тьмы. Возможно, тьма успокаивала Ваську, возможно, уравнивала ее шансы и шансы тех, кто умеет читать: еще бы, в таких условиях ни одной строчки не прочтешь, если ты не кошка, конечно. Или не совенок.

Понять кошку человеку не дано.

И возможно... воз-мож-но... тьмы за дверью нет. А есть Васькин мир – ослепительный и сверкающий. Там плавают рыбы самых немислимых расцветок, и Васька ловит их в сеть своих жестких непослушных волос. Там летают воздушные шары самых немислимых конфигураций, и Васька гладит их круглые монгольские лица; там снуют под ногами хорьки, и если хорошенько покопаться, то можно обнаружить ржавую раму от велосипеда. Того самого, на котором романтические недотепы – их мама и отец – совершили свой побег на небеса.

Больше всего Мика боялась, что наступит день, и Васька не выйдет из кладовки, растворившись в своем мире – сверкающем и ослепительном. Или, что хуже, – выйдет, но совершенно преображенная. Кошка, совенок – какой вариант предпочтительнее?

И тот, и другой.

Оба варианта предполагали молчание, неспособность к диалогу, и – следовательно – никогда больше она не услышит от Васьки:

ты мне не нравишься.

И других колкостей и несправедливостей тоже. Пожалуй, да: кошка устроила бы всех, даже имя Ваське менять не придется, оно и так вполне кошачье.

– ... Если ты не перестанешь дурить, я сдам тебя в интернат для умственно отсталых детей! – на такие пассажи Мика отваживалась редко, а, когда отваживалась, получала стандартный ответ:

– Не сдашь.

– Это почему же?

– Потому что ты любишь меня.

– А ты? Ты любишь меня?

– А я – нет.

Васька упорно не хотела становиться кошкой. И не хотела становиться послушной младшей сестрой. И не хотела становиться маленькой железной леди, борющейся со своим недугом, – а ведь мог бы получиться отличный пример для других, не таких маленьких и не таких железных жертв лейкемии, опухоли мозга, псориаза и заикания... Васька не хотела почти ничего из того, что обычно хочет семилетний ребенок, жевательные резинки не в счет. Она и в школу-то не рвалась, и тогда еще находившийся в полном здравии дядя Пека посоветовал Мике не форсировать события, слегка повременить с Васькиной учебой. «Слегка» затянулось на год, ознаменованный мученической смертью Солнцеликого то ли в Испании, то ли на Кипре. Лишенная главного советчика, Мика сама приняла волевое решение. И выложила тысячу долларов директрисе соседней с домом гимназии, чтобы Ваську зачислили сразу во второй класс.

– Вашей девочке скоро восемь, – для виду посопротивлялась директриса. – Она училась где-нибудь?

– Она училась... Дома. У нас были сложные семейные обстоятельства. Мы потеряли родителей, и это не самым лучшим образом отразилось на ней... Вы должны понять...

Васька исправно посещала занятия ровно три дня, а потом заявила Мике, что больше не намерена терять время понапрасну и полдня находиться в обществе дураков.

– Почему же дураков, Васька?

– Они маленькие. Они глупые. Постоянно что-то пишут в тетрадях... А самый глупый знаешь кто?

– Кто?

– Учительница. Она похожа на тебя.

– О господи, – не сдержалась Мика. – Если бы мама была жива...

– Мама умерла, – напомнила ей Васька. – Но лучше бы ты умерла вместо нее.

– Да, да, да. Конечно. Лучше бы я...

Мика так устала бороться с Васькой, во всем уступать ей и жить с ней под одной крышей, что лучше бы и вправду умереть. Или заняться, наконец, собой и перестать обращать на Ваську внимание. Нет, она вовсе не отказывается от готовки обеда и стирки трусов, она согласна исполнять роль банкомата, выдающего Ваське деньги на мороженое, кассеты с японскими мультиками и бенгальские огни. Она даже готова водить Ваську в цирк по воскресеньям. Все главные события происходят в цирке: клоуны вершат мировую политику, эквилибристы жонглируют голубыми фишками на товарно-сырьевых биржах, дрессированные медведи обрушивают цены на нефть, глотатели огня...

Как ты относишься к глотателям огня, Васька?

Большого ты от меня не дождешься, Васька.

– ... Лучше бы я умерла, – сказала Мика.

– Ага, – откликнулась Васька.

– Ты можешь делать что хочешь.

– Что хочу?

– Ты можешь не ходить в школу.

– Никогда?

– Никогда.

– И ты не будешь заставлять меня?

– Я же сказала: ты можешь делать что хочешь.

Васька посмотрела на Мику со жгучей заинтересованностью – едва ли не впервые в жизни. До этого Мика была третьесортным массовиком-затейником с баяном и никчемными песнями советских композиторов в репертуаре. Теперь же, произнеся судьбоносную фразу, она моментально перешла в разряд недосягаемых и прекрасных див в платьях с блестками: *блюз* – как образ жизни, *госпелс* – как образ жизни, *спиритчуэлс* – как образ жизни, соло на

саксофоне – маэстро Дэвид Сэнборн, босоногая Чезария Эвора и любительница шалей Tania Maria отправляются в утиль.

– Так я могу делать все?

Васька ждала, что Мика собьется на фальшивую ноту, добавив приличествующее случаю «в пределах разумного», но Мика удержалась.

– Абсолютно все. Единственное, о чем я прошу тебя... Помни, мы – сестры. И я всегда помогу тебе, если понадобится. У тебя на этот счет свое мнение, я знаю... В любом случае, просто помни – и все.

Нельзя сказать, что Васька воспользовалась Микиным предложением на полную катушку. Она не забросила школу полностью, как предполагала Мика; это да еще ежемесячные долларовые вливания в директрису позволили Ваське переползть из класса в класс с тройками по всем предметам. Неприсязательные, ручные, как лабораторные крысы, тройки успокаивали Мику: все формальности соблюдены, собес и наробраз могут спать спокойно, что же касается самой Васьки – придет время, она повзрослеет и сама решит, что делать дальше. Ведь повзрослеет же она когда-нибудь?..

Ждать придется долго, но Мика согласна подождать.

Смирение и кротость – вот что поможет ей.

Смирение и кротость оказались ненадежными союзниками, особенно по ночам, когда на Мику наваливалась привычная уже бессонница. Микины ночи были беззвездными, безлунными, и если бы только Васька узнала, какая темень стоит в них, она бы и думать забыла о своей кладовке. И перебралась бы в Микины ночи навсегда, *добро пожаловать, Васька!*.. Еще одна отличительная особенность Микиных ночей состояла в том, что кротость и смирение так и норовили улизнуть, дезертировать, оставить расположение войск. Ночами яркие плюмажи смирения и сверкающие доспехи кротости абсолютно не видны, так стоит ли им тратить время на Мику?

Не стоит.

Брошенная союзниками, Мика часами просиживала у Васькиной кровати, глядя на сестру; ей в голову лезли самые крамольные, самые чудовищные мысли – нужно, нужно было отдать Ваську в детский дом, там бы ее живо приструнили, там бы никто не позволил ей кобеничиться, и пусть бы ее удочерила парочка толстых глупых американцев (mr. и mrs. Mystify²) и увезла бы куда-нибудь в Вайоминг или в Неваду – в самую что ни на есть глухомань, кишашую умалишенными сектантами, оборотнями, агентами ФБР (которые хуже оборотней) и серийными убийцами в хоккейных масках. Каждый день там – *пятница, 13-е*, каждый праздник там – *Хэллоуин*. А из всех инструментов предпочтение отдается бензопиле.

Вот так. Живи и радуйся, Васька. И поджидай своего хоккеиста с краденым мясницким ножом в руках...

Впрочем, крамольных мыслей хватало ненадолго, уж слишком умилительной была спящая Васька. Слишком родной. Всегда горячая, покрытая пушком кожа, непокорные темные волосы – ни у кого в их роду не было таких шикарных темных волос, разве что у «*этой суки В.*», какой ее представляла Мика. Это сейчас Васька ловит в них рыб в своей кладовке, но придет время – и косяками пойдут мальчики, юноши, мужчины. Они будут умирать от любви, умничать и совершать глупости, распускать перья, поджимать хвост, покупать шоколадки, покупать «мерседесы» – такое периодически случается в жизни девочек, девушек, женщин. Всех или почти всех. Мика – счастливое исключение, ее кожа никогда не была горячей, «прохладной» – сказал бы покойный Солнцеликий, «холодной, змеиной, жабьей» – сказали бы все остальные.

Но до остальных Мике не было никакого дела.

² Мистифицировать (англ.).

Только до Васьки было. И потом почему бы Ваське когда-нибудь не вспомнить, что она – старшая сестра, любящая старшая сестра? Ведь она не так уж плоха – Мика. Рачительная хозяйка и очень экономная при этом, ну кто бы лучше нее распорядился капиталом в тридцать тысяч долларов?

Никто.

Еще при жизни Солнцеликого она отрывала небольшие суммы от его ежемесячных щедрот – так, на всякий случай, на черный день. Вкупе с тридцатью тысячами состояние получилось вполне приличное. Они, конечно, не роскошествуют, но и не бедствуют, все распланировано на несколько лет вперед, вот и квартиру продавать не пришлось. И Васька ни в чем не нуждается, так почему ей не любить Мику? Чем она хуже парочки толстых глупых американцев из Вайоминга? Чем она хуже дворовых приятелей Васьки, к которым та сбегает при каждом удобном случае? Ничуть не хуже – много лучше. Она не учит Ваську похабным словечкам, и не сует ей в руки подобие сигар из листьев черной смородины, и не ставит фингалы под глаз, и не дразнит ее дауном. Она могла бы взять Ваську за руку и ввести ее под сень Андерсена и шотландских народных сказок и преданий, а потом наступил бы черед дневников птицы Кетцаль, и дневников мотоциклиста, и дневников путешествующих автостопом (Вайоминг и Неваду они, как правило, обходят стороной), и даже Теннесси Уильямс... Даже он согласился бы подождать Ваську и Мику в условленном месте, на залитой дождем трамвайной остановке.

Трын-трын, дзынь-дзынь, трамвай «Желание» отправляется.

Васька – не то что Мика, она из принципа поедет на нем без билета.

Мика – не то что Васька, она заплатит за оба, нет на свете вещи, которую она не сделала бы ради Васьки, к примеру аргентинское танго, она могла бы научиться танцевать аргентинское танго...

– Хочешь, я научусь танцевать аргентинское танго? – шепчет Мика.

Васька не отвечает. Васька спит. Ее тело едва ли не горячее обычного, только у крошечных волнистых попугайчиков и голых кошек породы канадский сфинкс бывают такие горячие тела. А совы – о совах Мика не знает ничего, она отродясь не держала их в руках.

Если когда-нибудь и случится чудесное (ужасное) превращение Васьки в кошку – это произойдет ночью, и Мика просто обязана при этом присутствовать. Пока никаких тревожащих симптомов нет, но... Васька все равно меняется: полоска век не такая ровная и не такая короткая, какой была раньше, – день, неделю, месяц назад она выгнулась дугой, поднялась к вискам и явно удлинилась. Кто охраняет полоску по ту, недоступную Мике сторону?

Castguard.

Береговая охрана Васькиных снов.

Мике в них не сыщется и местечка, рассчитывать на контрамарку тоже не приходится, утром Васька откроет глаза, и это будут новые глаза – восточные, или, как пропела бы птица Кетцаль, ориентальные, по форме напоминающие лимон. Почти как у голых кошек породы канадский сфинкс.

Васька спит.

Во сне у нее растут волосы, становясь еще темнее, еще шикарнее, руки-ноги тоже растут – ненамного, на тысячную долю миллиметра, на микрон, но подрастают. А потом, когда будут прочитаны дневники мотоциклиста и дневники путешествующих автостопом (они никогда не будут прочитаны, а если и будут, то совсем не Микой) – потом у Васьки начнет расти грудь.

Великое событие, равное по значимости изобретению колеса и созданию опытного образца автомата Калашникова. А потом...

Первая менструация, как же, как же.

Тут-то и пригодится Мика с ее скудными, но все же знаниями. С ее скудным, но все же опытом. Тут-то она и выкатит тампоны и прокладки, тут-то она и разразится нагорной проповедью о том, что со всеми девочками случается это, и не нужно ничего бояться, все в пределах

физиологической нормы... тьфу ты, конечно же, Мика подберет другие слова, гораздо более поэтичные. Не лишённые мудрости и одновременно успокаивающие. Не исключено, что к тому времени Мика уже освоит аргентинское танго или обучится другим штучкам, недоступным дворовым приятелям Васьки, потому что вместо головы у них – футбольные мячи. Да, да, футбольные мячи – это еще не худший вариант. Васька – совсем другая, во-первых, потому, что она девочка, и совсем не глупая, наоборот – смысленная, несмотря на *редкую психологическую особенность*, а может, благодаря ей? Несомненно, Мика могла бы стать Васькиным лучшим другом: кому, как не сестре, рассказывать о своих первых мальчиках? Девяносто девять процентов из всего рассказанного наверняка будет враньем – и насчет поцелуев, и насчет места, где поцелуи застали парочку врасплох, и насчет возраста избранника (он не затрапезный семиклассник, каковым является на самом деле, а по меньшей мере девятиклассник) – пусть, Мика проглотит любое вранье. Конечно, до этого еще далеко, и ждать придется долго.

Но Мика согласна подождать.

...В четвертом классе Васька впервые заперла дверь своей комнаты на ключ.

Это случилось после того, как Мика допустила прокол – единственный за предыдущие два года, единственный за предыдущие семьсот тридцать ночей. Начало каждой из этих семисот тридцати ночей она проводила у Васькиной постели, полная тайных мечтаний об их будущей жизни, пусть и отличающейся от прошлой, но все равно счастливой. *Разное счастье* – оно все же счастье. Мика отпускала на мечты полтора часа – не больше и не меньше, а потом, успокоенная, убаюканная, уходила к себе. Но уйти в тот раз она не успела, и все из-за того, что позволила себе взять Ваську за руку. Жест совершенно невинный, разве сестра не имеет права взять за руку сестру?..

Как давно она не касалась Васькиных пальцев? Очень давно, *никогда*. Даже в ванную Васька ее не пускала, сама мыла себе голову, режет шею; единственное, что доставалось на долю Мики, – подтирать лужи воды, вылавливать из стока застрявшие волоски, выбрасывать в мусорное ведро размякшие обмылки.

Как давно она не касалась Васькиных пальцев?

Даже спящие, они были полны жизни. Тонкая и жаркая кожа едва заметно пульсировала, Мика так и видела арбузы Васькиных детских секретов, покачивающихся на синих волнах прожилок и вен. А запах черной смородины? И еще чего-то запретного, но как-то связанного с футбольными мячами... Васька спала – и лишь потому не отняла руку. Вот так, хорошо, хорошо, моя девочка.

Мое загляденье.

Мика проснулась утром, в той же позе, в которой заснула. И Васькина рука все еще была в ее руке. Открой она глаза на минуту, на тридцать секунд раньше, чем Васька, – неоправданного удалось бы избежать. Но несчастье заключалось в том, что глаза они с Васькой открыли одновременно.

– Что ты здесь делаешь? – заорала Васька, выдергивая пальцы из вспотевшей и безвольной Микиной ладони.

– Ничего, – только и смогла пролепетать Мика.

– Ты за мной подсматривала?!

– Ну что ты! Успокойся, успокойся, маленькая моя...

– Я не маленькая! И не твоя. Уходи, убирайся отсюда!

Пререкаться с Васькой было бессмысленно, и Мика посчитала за лучшее не раздувать скандал. Не говоря больше ни слова, она попятилась к двери и плотно прикрыла ее за собой.

К завтраку Васька не вышла.

Это означало, что и в школу она, скорее всего, не пойдет. Обычное дело, Васька появлялась там, когда хотела (а чаще не хотела). Последующие телодвижения Васьки тоже были

ясны как божий день: телевизор до одури и дворовые приятели, если телевизор, дай-то господи, надоест.

Мика была вовсе не так свободна, как Васька. Каждое утро, кроме выходных, она отправлялась на работу. Не самую лучшую и не самую высокооплачиваемую на свете.

Raumpflegerin³ – так называлась ее должность официально. Raumpflegerin или в просторечии пуц-фрау. Быть уборщицей – совсем не то что быть менеджером по персоналу или звездой мыльных опер, и совсем-совсем не то что *быть Джоном Малковичем*, – это не предел мечтаний и не вершина карьеры. Но Мика вовсе не стремилась к карьере, для карьеры необходимо как минимум высшее образование, требующее денег и времени, а ни того, ни другого у Мики просто не было. Из капитала в тридцать тысяч она и копейки на себя не потратит. Все должно принадлежать Ваське, если когда-нибудь она возьмется за ум. Но даже если не возьмется – ничего это не меняет.

На контору «**Dompfaff**»⁴, **логистика и международные перевозки**, Мика наткнулась совершенно случайно, в нескольких кварталах от дома, на Левашовском проспекте, недели через три после известия о смерти Солнцеликого. Воспоминание о *deutsch* и сдвоенных буквах в фамилии Брюггеманн было слишком живо, чтобы не посчитать таинственную «**Dompfaff**» знаком свыше. Толкнув непрезентабельную дверь офиса, расположенного на первом этаже жилого дома, Мика оказалась чуть ли не в объятьях молодого человека с испуганным лицом ефрейтора, едва унесшего ноги из Сталинградского котла.

Типичный фашик. *Немчура поганая*, подумала Мика.

На бейдже немчуры значилось «Ralf Norbe», и, если бы не испуг, слегка искажавший черты, и общая пресность облика, Ральфа вполне можно было назвать симпатягой.

– Мне нужен Тобиас Брюггеманн, – сама не зная почему, брякнула Мика.

– Найдите вы ошиблись фройляйн здесь нет Тобиаса Брюггеманна здесь есть Клаус-Мария Шенке Себастьян Фибелер Йошка Плауманн и ваш покорный слуга —

у немчуры оказался вполне сносный русский, единственное, что портило его, – полное отсутствие интонаций, полное отсутствие знаков препинания в предложениях, как если бы Ральф читал с листа совершенно незнакомый и малопонятный ему текст. Русский текст, написанный немецкими буквами.

– Как странно...

Кроме Ральфа в небольшой двадцатиметровой комнате находились офисный стол, два стула, кресло, замотанное в полиэтилен, и множество нераспечатанных коробок с оргтехникой. Дверь в соседнее помещение была приоткрыта, и за ней тоже высились коробки.

– Как странно, – снова повторила Мика. – Тобиас сообщил мне именно этот адрес... Вы ведь только что открылись?

– О да, – подтвердил Ральф.

– И наверное, набираете персонал?

В слове «персонал» не было ничего трудного даже для перепуганного немца. Но Ральф несколько томительных секунд мялся, прежде чем ответить:

– О да.

– Вот и замечательно. Я готова приступить к работе в самое ближайшее время.

– Дело в том, милая фройляйн, что мы не берем людей с улицы. Я правильно выразился?

– Еще более странно, – кроткая Мика и не подозревала, что в ней скрыты такие обширные и совершенно неразведанные залежи нахрапистости и цинизма. – Тобиас уверил меня, что прием на работу пройдет без осложнений...

– Как вы сказали? Тобиас...

³ Уборщица (нем.).

⁴ Снегирь (нем.).

– Тобиас Брюггеманн.

– Хорошо, оставьте, пожалуйста, свой телефон, я позвоню вам.

Как же, позвонишь, подумала Мика, покидая негостеприимное бунгало «**Dompfaff**».

И ошиблась.

Ральф Норбе позвонил через два дня и все тем же бесцветным бумажным голосом сообщил Мике, что руководство ждет ее в конторе.

– Так уж сразу и руководство! Зачем беспокоить руководство? – сразу же струхнула Мика. – На высокую должность я не претендую, а уровень моей компетенции... Его могли бы оценить и вы, Ральф.

– Это серьезный шаг, фройляйн, – парировал юный ефрейтор.

...Кlaus-Мария Шенке оказался бывшим лютеранским пастором, изгнанным из лона церкви за прелюбодеяния с прихожанками, Себастьян Фибелер и Йошка Плауманн – потешной гомосексуальной парой, а младшенький из всей компании – Ральф Норбе – сводным братом Клауса-Марии и меланхоличным любителем нюхнуть кокаин по совместительству. Привязанность к кокаину вылилась в полтора года отсидки в **JVA**⁵. Именно **JVA** он был обязан своим почти безупречным русским – его соседом по камере был натурализовавшийся в Германии отморозок из Казахстана, которого загребли за вооруженный налет на супермаркет.

О прелюбодеяниях, кокаине и гомосексуальной связи Мика узнала много позже, а тогда Клаус-Мария, Себастьян, Ральф и Йошка были для нее работодателями с незапятнанной репутацией. Белыми воротничками, белыми ангелами, белыми воронами, единственными из оставшихся в живых в Сталинградском котле. Высокое собрание ангелов предложило ей несколько должностей, из которых Мика, трезво рассчитав силы, выбрала ту самую *пиз-фрау*. А потом еще долго гадала – случай ли это, или... Или **Тобиас Брюггеманн**?

Епископ Тобиас Брюггеманн, единственный, кто до последнего считал, что Клаус-Мария Шенке не потерял для Бога.

Старый добрый дядюшка-трансвестит Тобиас Брюггеманн, не будь его – Себастьян и Йошка никогда бы не встретились.

Свой в доску надзиратель Тобиас Брюггеманн, за небольшую мзду закрывавший глаза на содержимое посылок для Ральфа.

У каждого есть собственный Тобиас Брюггеманн, справедливо решила Мика.

Все четверо немцев оказались милейшими людьми, совсем не похожими на проходимцев, – вот только какое отношение они имеют к логистике и международным перевозкам, Мика так и не поняла. При том уровне компетенции, который они демонстрировали, «**Dompfaff**» просто обязан был прогореть, если не через месяц, то, по крайней мере, через полгода. Но этого не произошло, напротив, фирма разрослась, как сорняк, пополнилась молодыми амбициозными сотрудниками сплошь с дипломами юридической, финансовой и прочих академий, и с задворков Левашовского проспекта Клаус-Мария – Себ – Йошка – Ральф перебрались на более respectable Введенскую, а затем и на Каменноостровский. Если так пойдет и дальше, то в скором времени они могут оказаться в Мариинском дворце, отобрав часть помещений у городского Законодательного собрания – и такой поворот событий не исключен, хотя не очень-то улыбается Мике.

Покидать Петроградку ей не хотелось категорически, а все из-за Васьки. И из-за времени, которое она тратила на дорогу, всего-то пятнадцать минут пешком, а если идти проходными дворами – можно выгадать еще пять. Самообман – вот как это называлось, как будто если Мика начнет ездить в центр и десять минут распухнут до часа, что-то непоправимо изменится.

Все и так непоправимо.

Особенно теперь, когда Васька начала запирает дверь своей комнаты на ключ.

⁵ Justizvollzugsanstalt – тюрьма (нем.).

Замок в ней существовал всегда, с незапамятных времен, возможно, со времен рокового влечения деда-академика к «*этой сукке В.*». Замок существовал, только ключа к нему не было. Мика считала, что он утерян безвозвратно, задолго до ее рождения, задолго до рождения мамы, и каково же было ее удивление, когда он обнаружился висющим на Васькиной груди!

Васька нашла его в кладовке, не иначе. Под ржавой рамой велосипеда, на котором мама и отец совершили свой побег на небеса.

Велосипеда никогда не существовало.

А ключ существовал.

Старинный, тяжелый (и как только Васькина шея выдерживает такую тяжесть?), с фигурной бородкой, с растительным орнаментом, обвивающим длинное тело, похожий на стилет и флейту одновременно. Драгоценные камни – вот чего ему не хватало. Жемчуг, рубин, изумруд; кошачий глаз, делающий воина невидимым в бою; сапфир, помогающий творить чудеса...

– Что происходит, Васька? – спросила Мика. – Откуда у тебя этот ключ?

– Это мой ключ.

– Зачем он тебе?

– Не хочу, чтоб ты заходила в мою комнату, когда я сплю. Не хочу, чтоб ты вообще туда заходила...

– Ключ – это лишнее, Васька. Я могу пообещать тебе...

– Не нужны мне твои обещания.

Мика растерялась. Она была опустошена, раздавлена. Лишь теперь она поняла, как важны ей были несчастные полтора часа у постели спящей Васьки. Иллюзия мимолетной близости – только это у нее и было. Теперь не будет. Мика могла бы устроить дискуссию на тему, что в Васькиной комнате нужно убираться – хоть изредка, менять белье, менять наволочки на подушках, да мало ли чего нужно. Все разговоры в пользу бедных, не исключено, что и самой Ваське в скором времени надоест таскать на шее ленточку с ключом, она спрячет его под подушку, а потом переложит в ящик стола, а потом и вовсе забудет о нем. А если не забудет – то обменяет у своих дворовых приятелей на какую-нибудь мелочь, способную составить счастье десятилетней девочки.

Мимолетное, как и любое счастье.

Как бы то ни было, в Васькину комнату Мика не попадала. И полтора часа, принадлежавшие мечтам об их с Васькой будущей счастливой жизни, она впервые провела совершенно в другом месте, а именно на кухне. Нельзя сказать, что до этой ночи кухня была центром Микиной жизни в доме, скорее вызывала смутный, почти суеверный страх: огромная, слегка вытянутая, она заканчивалась эркером с тремя сводчатыми окнами. Верхние фрамуги каждого из окон были украшены витражами. Витражи (по преданию), лет сорок назад созданные кем-то из учеников деда, являли собой картинки из жизни средневековых городов: Гент, Утрехт, Антверпен, чем-то неуловимо напоминающие Ленинград шестидесятых; традиционный набор символов, традиционный набор ремесел, традиционный набор предметов, знакомых и совсем незнакомых Мике, – астролябия, арбалет, дароносица, дарохранильница, двойная свирель, винокочило⁶.

Подражание готике или, скорее, пародия на нее.

Под витражами спокойно текла Песочная набережная и спокойно текла река за набережной, и – в отдалении – спокойно зеленел Крестовский остров. Плоский (почти Гентский? почти Утрехтский?) пейзаж иногда перечеркивали ветки тополя, что придавало готическим окнам некую не вписывающуюся в арт-концепцию барочность.

Остальная начинка кухни была много старше витражей: все эти резные буфеты, стулья и шкафчики; пол, выложенный потрескавшейся местами метлахской плиткой; массивная дубо-

⁶ Виноградный пресс.

вая столешница, вполне пригодная для Тайной Вечери; старинная плита, которую в прежние времена растапливали дровами, а последние лет пятьдесят использовали в качестве разделочного стола. Были еще ниши и нишки с вазами, сухими цветами и мелкой скульптурой. Часть скульптур была отлита и изваяна дедом, часть – подарена ему студентами Академии. Мика довольно быстро научилась отличать *студенческие поделки*: все они были с секретом, с начинкой, с двойным дном. Самым простым оказалось обнаружить надписи на недоступных для глаза частях скульптур, что-то вроде именных клейм. Надписи были самыми разнообразными:

«*Ars simia naturae*»⁷ «*HOMO BULLA EST*»⁸

«Верую в коммунизм, но в Святую Церковь больше»

«*In viridi teneras exurit medulas*»⁹

«НИНОЧКА, Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!»

«хочу в Америку»

«*omnia vincit amor*»¹⁰ —

и прочая отчаянная дребедень. По частоте упоминаний лидировала любовь в самых разных ее проявлениях, второе место прочно удерживалось за пигмейскими вызовами Советской власти, третье – за низкопоклонничеством перед Западом. Бедные бородачи из серого мамино альбома! Не повезло вам со временем, что тут скажешь? Из одиннадцати кухонных скульптур две были величиной с тушканчиков, еще три – с мускусных крыс; одна, изображавшая эстонского рыбака с трубкой, – едва ли не с саму Мику, еще одна (узбек в тибетейке, с русской девочкой на руках) сигала почти под потолок. Несостоявшийся памятник дружбы народов в Чирчике – так после недолгих раздумий решила Мика.

Она не любила кухню еще и из-за этих дурацких узбеков и эстонцев: уже давно пора перетащить их в дедову мастерскую, к девушкам с веслами, рабочим, колхозникам, сталеварам, лошадям Тамерлана и маршала Рокоссовского. Ведь совершенно невозможно принимать пищу на глазах у голодающего африканского ребенка, даром что он деревянный!.. Ваське – той было совершенно наплевать, где глотать бутерброды и пить чай, а Мика – она другой человек.

Слишком впечатлительный.

Непонятно, что привело ее на кухню в ту ночь. В сочащемся из окон сумраке она предстала перед Микой еще более загадочной, чем всегда, еще более устрашающей. Она была наполнена шорохами сухих цветов в вазах, вздохами и лепетаньем скульптур, и сами скульптуры – Мика могла поклясться, что они движутся, сжимают кольцо вокруг нее.

И запах.

Запах табака, очень крепкого, ядреного, мужского.

Мика не помнила, курил ли дед, но мама и отец не курили точно. И дядя Пека не курил, а визиты Саши и Гоши были слишком кратковременны – и двух затяжек не успеешь сделать. И вот теперь этот запах, без всяких ароматических отдушек, ничего общего с запахом табака «Кэптэн Блэк», или «Боркум Риф», или «Амфора Ванилла»: они продавались в маленьком магазинчике «**Табачная лавка № 1**», куда Мика изредка захаживала поглазеть на кальяны.

Табак, запах которого плавал сейчас по кухне, не курят фальшивые матадоры и фальшивые писатели с глянцевых обложек и уж наверняка не курит главный редактор сигарного журнала «*Nescho a mapo*»¹¹, разве что эстонский рыбак... Эстонскому рыбаку он, безусловно, подойдет. Мика тотчас вспомнила, какая надпись скрывалась в складках медного рыбацкого дождевика – «**Человек есть мыльный пузырь**». Означает ли это, что жизнь человеческая

⁷ «Искусство есть обезьяна природы» (лат.).

⁸ «Человек есть мыльный пузырь» (лат.).

⁹ «В юности любовь обжигает до глубины души» (лат.).

¹⁰ «Все побеждает любовь» (лат.).

¹¹ «Сделано вручную» (исп.).

так же хрупка, так же ненадежна, как мыльный пузырь? Означает ли это, что жизнь человеческая длится примерно столько же? А может, она так же радужна?.. Готические витражные сумерки подталкивали Мику к неутешительным выводам о бренности бытия. И она уже готова была бежать из кухни, покинуть ее по крайней мере до утра, когда снова станет светло и уйдут шорохи, вздохи и лепетанья, а запах табака перестанет раздражать ноздри. Она уже готова была сделать это, когда над плитой, до сегодняшнего дня выполнявшей роль разделочного стола, неожиданно зажегся свет.

Такое случалось и раньше – лампы дневного света, сидящие в хлипких гнездах, любят пошутить. Обычно этому предшествуют легкое потрескивание и короткие одиночные вспышки, но сейчас ничего подобного не происходило: ни тебе вспышек, ни потрескивания. И зажегшийся свет – в нем не было ничего мертвящего, совсем напротив. Желтый, густой, успокаивающий – вот каким он был.

Этот свет подействовал на Мику самым удивительным образом и самым удивительным образом изменил картину мира вокруг нее. Шорохи и вздохи затихли, нагло выпирающие из ниш скульптуры превратились в барельефы, а потом в шитые золотом тени на гобеленах, а потом и вовсе слились с фактурой стен. Гент, Утрехт, Антверпен медленно стекали с фрамуг по рамам – вниз, в стороны, – забираясь в самые дальние, потаенные уголки стекол, отвоевывая себе все большее пространство.

Настоящие Гент, Утрехт и Антверпен посередине.

Маленькие фигурки гентских птиц и утрехтских собак тоже были настоящими. Неподдельными. Как и глубокие морщины пейзажа. Астролябия и арбалет, двойная свирель и виноточило – все в полном порядке, пользуйся ими хоть сейчас. Нет никаких сомнений в том, что возраст витражей вполне соответствует возрасту Гента, Утрехта и Антверпена. Как нет никаких сомнений в том, что Гент, Утрехт и Антверпен еще очень молоды.

Катастрофически молоды. Не старше Васьки.

Мика засмеялась.

Не надрывным, истерическим смехом – верным спутником душевной болезни, – а легко и свободно. Астролябия и арбалет, двойная свирель и виноточило – все вместе и каждый по отдельности говорили ей: все хорошо, Мика. Ты вернулась домой, Мика. Ты никуда и не ушла, Мика. Все хорошо, а будет еще лучше, Мика.

Желтый свет над плитой становился все гуще, все теплее. А сама плита вдруг ненадолго потеряла резкость очертаний. Она как будто находилась в центре странного водоворота, или дыры в пространстве, – именно в этот водоворот, в эту дыру и влекло Мику.

Мика не стала сопротивляться.

Она двинулась вперед, ощущая томление в груди и покалывание в пальцах. И совершенно не боясь того, что может произойти через несколько секунд. Но ничего экстраординарного не произошло. Мика не стала частью гентского, утрехтского, антверпенского пейзажей, крылья птиц не задели ее лица, собаки виляли хвостами вовсе не для нее. Все по-прежнему оставалось на своих местах – и все же, все же... Это была новая реальность.

В новой реальности на (оказавшейся безбрежной) поверхности плиты лежала доска. Доска была совершенна – по-своему, конечно. Никогда еще Мика не видела такого гладкого, такого нежного, белого с коричневыми прожилками дерева. В него хотелось погрузить руки, как в ручей на исходе августа, к нему хотелось прикоснуться, его хотелось поцеловать и потом, с замиранием сердца, ждать ответного поцелуя. Мика не сделала этого – и только потому, что случайно перевела взгляд чуть вправо.

Ножи.

Рядом с доской лежали ножи! Один большой и широкий, напоминающий тесак, и два других, поменьше и поизящнее. Их можно было принять за ножи крестоносцев, и за ножи самураев, и за ножи ловцов жемчуга, и за ножи охотников за головами тоже. И они гораздо

больше, чем Васькин ключ, заслуживали драгоценных камней – жемчуга, рубина, изумруда – это было несомненно. Лезвия ножей блестели и лоснились, а на темных рукоятках просматривались оттиски цветов: омела, мирт и тимьян. Никогда прежде Мика не видела ни омелы, ни тимьяна, тогда откуда эти знания?

Оттуда же, откуда сами ножи.

Омела, мирт, тимьян. Тимьян, омела, мирт.

– И так? – спросила Мика, отстраненно наблюдая, как слова отлетают от ее губ и одно за другим падают в пучину желтого света. – И так? Что я должна делать теперь?

Ответа не последовало ни от ножей, ни от доски, ни от утрехтских собак, ни от астролябии. Но Мика и сама знала ответ, *он был внутри нее.*

Рыба. Ну да, рыба.

Три неразделанные рыбы тушки лежали в холодильнике с прошлой недели. Мика купила их на Сытном рынке: двух карпов и одного толстолобика. Толстолобик годился для жарки, а из карпов можно было соорудить воскресную уху. Хотя воскресенье и не рыбный день, но они с Васькой вполне могут пообедать. Настоящий семейный обед с переменной блюд. Первое и второе, вместо компота – лимонад «Байкал». Естественно, что за дрызгами и мелкими скандалами с Васькой Мика совершенно позабыла о карпах и толстолобике.

А сейчас вспомнила.

Сколько времени уйдет на разморозку? Нисколько.

Мика поняла это, как только вытащила из морозильной камеры задубевшую, не слишком хорошо пахнущую массу и швырнула ее на доску. Или – вернее – в водоворот по-прежнему мягкого и спокойного желтого света.

Когда именно с рыбой произошли столь разительные метаморфозы, Мика объяснить так и не смогла. Ни тогда, ни потом. Но факт оставался фактом: непрезентабельные карпы и толстолобик легли на белое с коричневыми прожилками дерево совершенно преобразованными. Да и от толстолобика с карпами ничего не осталось. Это были совсем другие рыбы.

Иные.

И они не меньше, чем ножи, чем ключ, заслуживали драгоценных камней. Их тела были сильны, они переливались всеми оттенками стального, всеми оттенками бирюзового; их плавники были янтарными, брюшки – молочно-белыми, а глаза – лимонными; их жабры светились кармином, их чешуя напоминала доспехи бога; мечта любой хозяйки, любого художника из Гента, Утрехта, Антверпена – вот чем были эти рыбы! Не бесплотные тени из Васькиной кладовки, не побрякушки из Красного моря, нет... Рыб, лежащих на доске перед Микой, казалось, еще не покинула жизнь, от них исходил острый, кружащий голову запах свежей воды и каких-то трав, между чешуйками то здесь, то там блестел песок – ничего прекраснее Мика не видела до сих пор.

– С ума сойти! – прошептала она. – С ума сойти!.. Что я должна делать теперь?

Ответа не последовало, но Мика и сама знала ответ. *Он был внутри нее.*

Тимьян для головы и хвоста. Омела – для чешуи. Мирт понадобится для того, чтобы вспороть живот. Давай же, Мика!..

Разделявая рыбу, Мика испытала странное смешанное чувство восторга и умиротворения. Как будто ее душа, наконец, успокоилась, обрела равновесие. Она – она, а никто другой! – владела этими чудесными рыбами безраздельно, а через них владела свежей водой, и травами, и всем песком на свете – вплоть до последней песчинки. Все было как в первый день творения, или как в последний день творения, или как в еще неназванный, несуществующий день; ведь Мика отделяла части от целого, чтобы получилось новое целое. *Видела бы меня Васька*, подумала Мика, то, что я делаю сейчас, много лучше, чем научиться танцевать аргентинское танго. Много лучше, чем освоить, наконец, дриблинг и удары головой в верхний угол ворот.

Крови было немного, и с ней у Мики не возникло никаких хлопот. Не то что раньше, до этой волшебной ночи, волшебных ножей, волшебной доски. Доска – вот кто взял на себя все неприятные моменты: рыба кровь не растекалась, как можно было предположить, совсем наоборот – она уходила в глубь белого дерева подобно влаге, уходящей в почву. То, что оставалось на поверхности, моментально загустевало, и Мике оставалось лишь собирать плотную, вязкую массу на кончик ножа и стряхивать ее в медную миску, испокон веков стоящую на плите неизвестно для каких целей.

Теперь понятно, для каких.

Ни одна чешуйка не была потеряна, ни одна не прилипла к ножам. Руки и лицо Мики тоже остались чистыми – и после того как сверкающая груда доспехов отправилась в медную миску.

– Специи. Теперь нужны специи, – сказала Мика непонятно кому: то ли ножам, то ли доске, то ли нежным мраморным кускам рыбы.

Анис, фенхель, шафран, куркума. А еще гвоздика и имбирь, если они, конечно, понадобятся.

Звездочки аниса Мика нашла на нижней полке буфета, который до этого открывала раз пять от силы. Там же обнаружились фенхель и шафран. Все остальное стояло в резном шкафчике, подпирающем подоконник. Чтобы достать *остальное*, Мике пришлось вынуть казан и две сковороды с длинными деревянными ручками. И казан, и сковороды были сработаны из той же меди, что и миска.

Старая, очень старая посуда.

Мика хотела избавиться от нее не однажды: уж слишком громоздкой, слишком нефункциональной она казалась. Теперь, в желтом свете, все выглядело совсем иначе: благородная, с красноватым отливом медь, благородные выбоины, благородные неровности. Сковороды сияли подобно маленьким солнцам, и, заглядевшись в одну них, Мика вдруг увидела отражение собственного лица, тоже изменившегося до неузнаваемости.

Не мамино и не Микино.

Нет, все же Микино. Только акценты на лице были расставлены по-другому, не так, как обычно: у Мики из медных глубин, в отличие от Мики настоящей, отсутствовали брови. И отсутствовали ресницы, оттого и глаза казались много больше обычного. А рот, напротив, уменьшился едва ли не вполовину и округлился, уголки губ загнулись вверх; не рот, а какая-то диковинная раковина, вот несчастье! Если бы сейчас кто-нибудь приложил ухо к Микиным губам – он наверняка услышал бы шум волн.

Ваське бы это понравилось, подумала Мика.

И тряхнула головой. И тотчас же услышала звон.

Он шел не извне – с медного дна, в котором все еще плавало Микино отражение. Впрочем, и звоном назвать его было трудно. Так, легкое мелодичное позвякивание, как если бы ветер раскачивал маленькие китайские колокольчики, подвешенные к веткам сосны. Совсем маленькие колокольчики, с вишню, а может, с крыжовник. Мика из плоти и крови осторожно поднесла кончики пальцев к поверхности сковороды – и они сразу же заслонили рот и часть подбородка ее медного двойника. Как отреагировала на прикосновение медь, осталось неизвестным, зато сама Мика тихонько ойкнула: кто-то коснулся ее лица, ну надо же!

Кто-то? Да ведь это я сама! – развеселилась Мика, интересно, что будет, если я решу поковыряться в своем медном носу?.. Впрочем, через секунду она уже забыла об этом. И забыла о том, что у медной Мики нет бровей (нонсенс!) и нет ресниц (форменное издевательство!) – а все потому, что у своего отражения она обнаружила то, чего не было, не могло быть у нее. Никогда.

Сережки.

Уши настоящей Мики даже не были проколоты. Мамино, а потом ее собственное упущение. Хотя это и упущением не назовешь: сама процедура почему-то пугала Мику. Добро бы дело ограничивалось мгновенной и скоро проходящей болью от иглы, так нет же! Боль может задержаться надолго, а мочки распухнут и начнут гнить – вот что самое неприятное. Хотя нет, самое неприятное – заражение крови, сепсис; иглу как следует не обработали, не продезинфицировали, и вот тебе пожалуйста: летальный исход.

Теперь, глядя на сережки, принадлежащие ее отражению, Мика совсем не думала о летальном исходе – до того они были хороши. С поправкой на недостаточную ясность изображения, конечно. *Золото*, тут же решила Мика, золото и жемчуг. Каждая сережка представляла собой конус, обвитый крошечными золотыми листьями и украшенный россыпью жемчужин. В основание конуса тоже было заключено по жемчужине, много крупнее остальных: с вишню, а может, с крыжовник.

Сережки.

Они и издавали звон. Если уж сегодня ночь чудес – то пусть случится чудо!

Мика крепко зажмурила глаза и дернула себя сразу за обе мочки: напрасные ожидания, они были голыми, куцыми – такими, как всегда. Это сразу отрезвило Мику и заставило ее вернуться к банкам со специями: анис, фенхель, шафран, куркума. Гвоздика и имбирь. Одинаковые жестянки небольшого размера, только рисунки на них разные. Подробности рисунков ускользали от Мики из-за стертой местами эмали – хотя при желании и при наличии лупы можно было рассмотреть и подробности. Что-то подсказывало Мике – не сейчас, потом. Потом ты все увидишь, а сейчас возвращайся к ножам, к доске, к кускам рыбы. Стараясь не заикливаться на рисунках, Мика по очереди открыла все жестянки. Раньше, до этой чудесной ночи, она имела дело лишь с лавровым листом и горошинами черного перца, ну и с корицей, и с засушенными стручками жгучего красного как максимум. Анис и гвоздика тоже не вызвали вопросов, но откуда все остальное? Откуда Мика знает, что шафран – это шафран, а фенхель – это фенхель, а не что-нибудь другое, например куркума? А есть еще множество других приправ – зира, рас-эль-ханут, самбаль, джелджлан...

Мика – большой специалист по специям? Это ново.

Рыбу лучше потушить.

Кроме специй Мике понадобились масло, лук, два салатных перца – красный и желтый, зелень и немного уксуса – все это нашлось в холодильнике и в шкафчике под окном. Мика даже не удивилась тому, что перец она не покупала: в желтом свете происходящего, когда все вокруг так реально и нереально одновременно, стоит ли обращать внимание на мелочи? Куски рыбы она сложила в казан, предварительно раскалив его на огне и залив доньшко маслом. Скучное Микино воображение, вдруг переставшее быть скучным, подсказывало: что делать сейчас, а что позже, как резать лук и как перцы. Зелень ластилась к ней, луковые кольца обвивались вокруг пальцев – каждое из них стремилось обручиться с Микой, признаться ей в вечной любви. В жизни своей Мика не была так счастлива, так спокойна. Это был совсем другой вид счастья, другой род. Впервые оно не зависело ни от кого. Не было ни с кем, кроме самой Мики, связанным.

Пожалуй, что я чего-то стбю, подумала Мика.

Пожалуй, имеет смысл заняться кулинарией, подумала Мика.

... Через полтора часа все было кончено: в казане золотились куски рыбы, и золотился лук, то тут, то там вспыхивали яркие стрелы не потерявшего цвет перца, а запах стоял просто одуряющий. Именно на запах и выползла заспанная Васька.

– Что это? – хмуро спросила она, зевая и подперев плечом дверной косяк.

– В каком смысле?

– Что ты тут делаешь?

– Готовлю.

– Ночью?

– Ночью. Почему нет? Такое у меня настроение.

– Ясно, – Васька даже не думала приближаться, но и уходить не собиралась.

– Хочешь попробовать? – бросила пробный шар Мика.

Никакого заискивания в ее голосе не слышалось, даже удивительно. Но все еще сонная Васька не спешила удивляться переменам в старшей сестре. Уже потом Мика была склонна расценивать ситуацию именно так: Васька была сонная, оттого и не удивилась.

– Так положить тебе кусочек?

– Нет.

Васькины глаза, наконец, прояснились, очистились от сна. Даже сказав свое традиционное «нет», она не ушла, а все втягивала и втягивала ноздрями воздух.

– А что это?

– Рыба. Хочешь рыбки?

– Вот еще! Рыбы не хочу. Хочу сладенького!

Васька прошлепала босыми ногами к холодильнику, достала из него начатую упаковку с йогуртом и так сильно хлопнула дверцей, что тимьян, мирт и омела звякнули в унисон. А у Мики бешено заколотилось сердце. Если бы они с Васькой были близки, как и положено сестрам, сейчас все было бы иначе. Она бы обязательно рассказала малышке волшебную сказку о волшебных ножах и о рыбе, которая разве что говорить не умеет. А потом Мика и Васька вместе бы заглянули в медное зеркало сковороды, и построили бы ему рожи, и, может быть, нашли бы там что-нибудь более значительное, чем серьги с жемчугом.

– А я нашла коробочки. Хочешь посмотреть?

Васька молчала. Она смотрела прямо перед собой остановившимися глазами – минуту, две, пять. Мике даже пришлось повторить вопрос.

– Так хочешь посмотреть на коробочки?

– Не хочу, – казалось, ответ дается Ваське с трудом. – Они дрянные, твои коробочки.

Дрянные. Так и не иначе. Васька с трудом выносила Мику – даже ночью, даже сонная, даже стоя босиком на растрескавшейся плитке, в пижамке со смешными медвежатами. А если бы на пижамке были серьезные еноты или еще более серьезные якоря и кораблики с парусами?

—
ничего бы это не изменило.

* * *

...Васька уже давно ушла, а Мика все сидела и сидела на кухне, безвольно опустив руки на колени и глядя перед собой. Мимолетная власть над рыбьими тушками, над луковыми кольцами, над перечной мякотью – разве это ей нужно на самом деле? Нет. Ночь подходила к концу, а вместе с ней постепенно исчезала магия кухни, которую Мика (и что за помутнение на нее нашло в самом деле?) приняла за лабораторию алхимика. А она-то, дурёха, и вправду решила, что может быть счастлива сама по себе, без всякого постороннего вмешательства. Ночь подходила к концу, Гент, Утрехт, Антверпен прямо на глазах съезжались до размера фрамуг и снова стали походить на Ленинград шестидесятых. И свет перестал быть желтым, успокаивающим – он тоже съезжился, а потом и вовсе растаял под первыми лучами солнца. Астролябия и арбалет никогда не пригодятся тебе, Мика.

Запели невидимые в листве птицы, и мотивчик оказался так себе, подленький, дешевый: *поделом тебе, Мика. не раскатывай губу, Мика. ничего не изменится, Мика.*

Выбросить к чертям свой ночной кулинарный шедевр, слить его в унитаз – и дело с концом.

Но ничего подобного Мика не сделала.

Она даже не стала переключивать рыбу из казана. А взяла его как есть, поставила в большой полиэтиленовый пакет и, с трудом дождавшись приличествующего случаю времени (семь часов сорок пять минут), отправилась в контору «**Dompfaff**».

Первым, кого она встретила после охранника, был Ральф.

Ральф иногда ночевал в конторе – это объяснялось тем, что ночной клуб, в котором он постоянно ошивался и в котором с завидной периодичностью цеплял девок, находился в двух кварталах от «**Dompfaff**». За те несколько лет, что Мика проработала в конторе, с бывшим насмерть перепуганным юным ефрейтором произошли кардинальные изменения — он перестал бояться.

А ведь Мика еще помнила те времена, когда совсем нестрашный, местами очень европейский – по ее представлениям – Петербург вгонял Ральфа Норбе в состояние легкой прострации. Ральф с ума сходил от страха при виде раскрашенных в цвета «Зенита» футбольных болельщиков числом больше двух; его пугали гаишники (русские гаишники берут взятки), автомобилисты (русские водители не умеют ездить культурно), бродячие псы (русские собаки – переносчики холеры, тифа и бубонной чумы), женщины (русские женщины – все, как одна, – корыстолюбивые сучки, они спят и видят, как бы окрутить *treuherzig*¹² Ральфа, женить его на себе, выехать в Европу и бросить сразу же после получения гражданства – ради первого повернувшегося под руку турка с большим, всегда готовым к сверхурочной работе членом). А теперь куда что подевалось? Ральф больше не *treuherzig*. Ральф удачно акклиматизировался, даже чересчур удачно. Ни гаишники, ни автомобилисты, ни футбольные фаны больше не смущают его; если русские женщины и сучки – то отнюдь не такие корыстолюбивые, какими представлялись Ральфу вначале. Лишь отношения с бродячими собаками остаются непроясненными, а пристрастие к кокаину сменилось пристрастием к грибам-галлюциногенам.

«**She's A Carioca**» – доносилось из-за дверей комнаты, в которой Ральф обычно перекапывался после клуба. Собственно, это была не просто комната, а некое подобие гостиничного номера с санузелом, душем и широкой кроватью, призванной удовлетворять исследовательские инстинкты Ральфа в отношении *der Russe fräulein*¹³. Иногда номером пользовались друзья Себастьяна и Йошки и друзья друзей Себастьяна и Йошки, то и дело шаставшие в Питер для обмена опытом с местными гей-активистами. Об этом душноватом чилл-ауте мало кто знал, за исключением нескольких особо проникательных менеджеров и Мики. Как самый старший работник фирмы и почетная пуц-фрау, она имела высшую степень доступа, и ей вменялись в обязанности ежедневная уборка и еженедельная сдача белья в прачечную. Чего только не находила Мика в заветной комнате! Презервативы, порножурналы, наброски манифеста «Гомофобии – нет!», цитатники Мао (друзья Себастьяна и Йошки исповедуют леворадикальные взгляды), диски с текстами песен (друзья друзей Себастьяна и Йошки без ума от караоке), бесплатные открытки из кафе, фривольные каталоги «*Vip-досуг в Петербурге*», порванный бланк заказа на куклу-матрасик («анус-вагина съёмные»); женские трусики, заколки, помаду; салфетки, испачканные спермой, карманную библию, брошюру «Бог любит всех своих детей», четки – мусульманские и католические, а однажды на глаза Мике попался самый настоящий вибратор.

Легко усваиваемая бразильская «**She's A Carioca**» означала, что старина Ральф находится в чилл-ауте не один. В противном случае из-за дверей звучала бы совсем другая музыка – что-то вроде невыносимо концептуального acid-джаза.

Они появились минут через тридцать, когда Мика заканчивала протирать стекла (еще один пункт немецкого руководства «**Dompfaff**»: стекла в конторе всегда должны быть чистыми, это основа имиджа любой преуспевающей компании). Мика ненавидела стекольную

¹² Простодушного (нем.).

¹³ Русских девушек (нем.).

часть своих обязанностей и давно бы взбунтовалась, если бы за нее не приплачивали сто пятьдесят долларов ежемесячно.

Она не так уж часто сталкивалась по утрам с Ральфом и его пассиями, но мизансцена, как правило, была одной и той же: дамочка и Ральф с одной стороны и Мика и тряпка – с другой. При этом Мика (в темно-синем – собственность «**Dompfaff**» – комбинезоне) оставалась лишь деталью пейзажа, не больше. С ней не стоило и здороваться, ну кому придет в голову кланяться принтеру, или сканеру, или экрану монитора? Во всяком случае, Ральф, в присутствии своих фройляйн, не кланялся никогда. Это потом, проведив дамочку и вернувшись, он проявлял чудеса демократичности, мог пошутить в духе немецкого атлетического порно, мог расспросить Мику о бойфрендах, не особенно вслушиваясь в ответы; а иногда Мика удостаивалась и *кюссена*¹⁴. Не романтического – дружеского, в щеку. *Кюссены* не оскорбляли Мику, в них не было ничего скабрёзного, но каждый раз она думала: «Лучше бы ты прибавил мне *lohnes*¹⁵, немчура поганая».

Этих мыслей Мика не озвучивала никогда – вопросами заработной платы Ральф не занимался.

... Дамочка, или точнее девка, вышедшая с Ральфом, была так себе – ни рожи, ни кожи, топ «100 самых амбициозных блондинок мира» обходился явно без ее участия. Хотя неизвестно, кем она казалась жертве грибов-галлюциногенов: может быть, Грейс Келли, а может, Мэрилин Монро или тантрической богиней Вост. Но Мика – Мика видела суть вещей, особенно стоя на подоконнике. Особенно после волшебной ночи, проведенной на кухне. Она наивно полагала, что влияние ночи кончилось – ничего подобного! Если бы кончилось – Мика не почувствовала бы в руках тяжесть от невидимого арбалета. А она почувствовала.

– Фигня, – сказала Мика, пуская короткую, украшенную стальным оперением стрелу.

– Was ist los? – переспросил Ральф, останавливаясь. – Что такое?

– Фигня эта ваша фройляйн, —

вторая стрела отправилась в цель, легла рядом с первой; прямо в центр бейджа, который Ральф уже успел нацепить.

– Was für ein... Что за...

– Худшая из всех. Правда-правда... Остальные были хотя бы симпатичными.

Лицо дамочки побледнело и слилось с обесцвеченными волосами.

– Кто это? – просипела она.

Ральф стал пунцовым. Он несколько раз дернул кадыком и открыл было рот для ответа, но тут же благоразумно захлопнул его. Да и что было отвечать – «Это наша уборщица»? **С каких пор уборщицы позволяют себе такие вольности в отношении начальства?** – резонно спросила бы дамочка. **И что это за контора, где всякая шваль плюет на субординацию?** – резонно спросила бы дамочка. **Так, значит, ты перетаскал сюда не одну девку?** – резонно спросила бы дамочка. **Так, значит, я недостаточно хороша для такого сморчка, как ты?** – резонно спросила бы дамочка. И это был бы самый худший вывод, учитывая последствия. Для Ральфа и для самой Мики.

В надежде хоть немного исправить положение Ральф приобнял свою подружку, но тут же получил сумочкой по рукам.

– Оставь меня, скот! – взвизгнула оскорбленная фройляйн.

Очень по-русски.

– Но детка...

– Я тебе не детка!

– Das ist... Это недоразумение, детка...

¹⁴ Поцелуйчик (нем.).

¹⁵ Зарплата (нем.).

– Ты сам – недоразумение!

Мика проводила скандалящую парочку легким, едва слышным свистом и снова сосредоточилась на окне. Она уже домывала верхний, самый неудобный угол, когда появился Ральф.

– Зачем? – спросил он. – Зачем вы это сделали?

– Вы собирались на ней жениться? – Мика спрыгнула с подоконника и бросила тряпку в ведро.

– Нет, конечно.

– Бурный роман без последствий?

– О нет, – Ральф как будто удивился сам себе. – Это даже хорошо, что так получилось. Я бы не отделался так просто. Я очень порядочный человек.

– Ну кто бы сомневался, – улыбнулась Мика. – Если вам нужно будет от кого-нибудь отделаться и в дальнейшем... м-м... без ущерба для своей порядочности – обращайтесь.

– Вы милая.

Конечно, милая. Даже в темно-синем рабочем комбинезоне (собственность «**Dompfaff**»), даже с ведром в руках. Конечно, милая, хотя все тот же заезженный топ «100 самых амбициозных блондинок мира» совершенно не страдает от ее отсутствия. Мика не амбициозная и не блондинка, но она милая. *Милая Мика* – вот и Ральф это заметил. И только Васька не хочет ничего замечать. Воспоминание об этом должно вызывать грусть – так было всегда. Но сейчас Мика не чувствовала грусти: легкую пьянящую ярость – да, но не грусть. *Нельзя зависеть от одиннадцатилетней соплячки*, нашептывал Мике оставленный дома фенхель. *Даже если бы ей было двенадцать, двадцать четыре, тридцать шесть – такая зависимость противостоит естественна*, нашептывал Мике оставленный дома шафран. *Живи своей жизнью*, нашептывали Мике имбирь, анис, куркума.

Не так уж они не правы.

– ... Хотите есть, Ральф?

Ральф уже давно не смотрел на свою спасительницу. Полиэтиленовый пакет с рыбой в углу – вот на чем сосредоточилось все его внимание.

– Что это?

– Рыба. Сегодня ночью я готовила рыбу. Такое у меня было настроение. Хотите попробовать?

– Пахнет многообещающе.

– Правда, я не захватила столовых приборов...

Мика едва успела закончить предложение, как Ральф оказался в опасной близости от пакета. Совсем не тот Ральф, которого она знала, – не жертва грибов-галлюциногенов, не лекционер женских трусиков и не юный ефрейтор —

мальчишка Ральф.

Мальчишка жаждал одного – запустить руку в полиэтилен, покопаться в содержимом и выкрасть самый большой, самый сочный кусок. Кража, недостойная **JVA**; подзатыльник – вот тот максимум, который можно за нее схлопотать.

Отвешивать подзатыльники Мика не собиралась.

Она молча наблюдала за Ральфом, устроившимся на полу, рядом с пакетом. Ральф поглощал кусок за куском – все, как один, большие и сочные, – не забывая слизывать с пальцев загустевший соус. Глаза сентиментального мальчишки увлажнились, а на щеках проступил румянец.

– Мама оставила нас с отцом, когда мне едва исполнилось семь, – неожиданно сказал он. – Я очень переживал.

– Понимаю.

– Она была ведущей девятичасовых новостей на телевидении. Каждый вечер я устраивался перед экраном и смотрел на нее. Я старался не плакать – ей бы это наверняка не понра-

вилось. Я не плакал, я просто смотрел на нее и иногда прикасался к лицу. То есть я думал, что прикасаюсь к лицу. А на самом деле там было только стекло. Холодное стекло.

На этот раз Мика даже не нашлась, что ответить.

– С тех пор ничего не изменилось. Стоит мне только прикоснуться к лицу женщины... Любой женщины, которая мне нравится, – я снова ощущаю холод стекла.

– И ничего больше?

– Ничего. Это проблема. Большая проблема.

– А... другие части женского тела так же холодны?

– Боюсь, что да.

– Бедный вы, бедный.

– Зачем я вам все это рассказываю?

И правда – зачем? Не самое подходящее время, не самое подходящее место, не самый подходящий антураж. Подобного рода откровения неплохо смотрелись бы в полутьме, за ресторанным столиком; в лифте, застрявшем между двадцатым и двадцать первым этажом; в обледеневшем кресле подъемника (конечный пункт – южный склон горы *NN*, Австрийские Альпы); в баре для гомосексуалистов... о нет, это персональная история Ральфа, а совсем не Йошки с Себастьяном.

– Я не знаю, зачем вы мне это рассказываете.

Не затем, чтобы понравиться или вызвать интерес. Ральф и сам не рад вырвавшимся у него признаниям – это видно невооруженным глазом. Жаль, что в наборе витражных инструментов не присутствовала лупа – тогда Мике удалось бы разглядеть признания Ральфа в деталях и, возможно, найти их исток. Кое-какие подозрения все же существуют: *рыба*. Ральф разнюнился после первого съеденного куска; необычная рыба, выловленная неизвестно где, неизвестно кем, неизвестно когда, – но приготовленная Микой, это уж точно сомнению не подлежит. Что-то здесь не так: либо с рыбой, либо с Ральфом. А с Микой...

С Микой все в порядке. Впервые за долгие годы все в порядке.

– ... Черт возьми, милая. Вы отменно готовите!

– Вам понравилось?

– В жизни не ел ничего вкуснее.

«Erschüttert»¹⁶, «bezaubert»¹⁷ – никогда еще Микина *стряпня не удостаивалась таких эпитетов*.

Через час к ним прибавились: «*die göttlichgericht*»¹⁸ (тонкое замечание Клауса-Марии) и «*verblüfft*»¹⁹ (коллективный вердикт Йошки и Себастьяна). А еще через полчаса Мика сидела перед всеми четырьмя совладельцами «*Dompfaff*», пожиравшими ее глазами.

– Сколько вы работаете у нас, дорогая фройляйн Полина? – спросил Клаус-Мария, старший по должности и по возрасту.

– Почти три года.

– О-о, это довольно долгий срок! Вы всем довольны?

– В общем и целом – да. К тому же я получаю дополнительные сто пятьдесят долларов ежемесячно. За мытье окон. Знаете, сколько окон у нас в конторе?

– Никогда не задумывался, – это Клаус-Мария.

– А у нас есть окна? – это Йошка с Себастьяном, весельчаки.

– Сколько у нас окон? – это Ральф, после сакрального завтрака он так и норовит заглянуть Мике в рот, ловит каждое ее слово, смех да и только.

¹⁶ Потрясающе (нем.).

¹⁷ Восхитительно (нем.).

¹⁸ Божественное блюдо (нем.).

¹⁹ Умопомрачительно (нем.).

– Пятнадцать, – это Мика. – Получается десять долларов за окно. Неплохая прибавка к зарплате, согласитесь. Можно, конечно, накинуть еще сотню. У меня маленькая сестра, мы живем одни, и иногда возникают трудности... А вообще я не жалуясь, нет...

– Вы моете окна?!

«Вы моете окна. Она моет окна. Какой ужас. Какой кошмар. Форменное безобразие!» – Клаус-Мария, Ральф, Йошка с Себастьяном перебивают друг друга, закатывают глаза, вертят головами, как птицы. Теперь Мика будет знать, как выглядит птичий базар.

– Вы моете окна?! – Клаус-Мария первый понизил голос до трагического шепота.

Причины трагедии Мике неясны.

– Конечно. Это входит в мои обязанности.

– Вы не должны мыть окна.

– Почему же? Я и унитазы чищу. Делаю все, что положено уборщице.

Всеобщий вздох, переходящий в вопль отчаяния.

– Вы больше не уборщица, дорогая фройляйн Полина!

– Почему? Вы меня увольняете? – уж не погорячилась ли Мика с прибавкой к жалованью?

– О, нет! Нет! Мы хотим предложить вам другую работу. Ту, которая хоть немного будет достойна вас. Вашего таланта...

– Моего таланта?

Все дело в рыбе, съеденной утром. Львиная часть досталась Ральфу, но и Клаусу-Марии, и Йошке с Себастьяном тоже кое-что перепало.

– Вы прекрасно готовите, фройляйн. Мы имели возможность попробовать. Отведать. Вкусить. Это нечто... – Клаус-Мария щелкает пальцами.

– Потрясающее, – подсказывает Ральф.

– Умопомрачительное, – подсказывают Йошка с Себастьяном.

– Да-да. Я бы еще добавил, что вы создали божественное блюдо. Откровение Господне, по-другому не назовешь. Мы все были сражены наповал. Вы где-то учились кулинарному мастерству, дорогая?

– Нет, просто я люблю готовить, – Мике кажется, что она не врет, а если и врет – то самую малость.

– Врожденный дар? – интересуется Клаус-Мария.

– Можно сказать и так, – скромно соглашается Мика.

– Он... распространяется только на рыбу? Я хочу сказать – вы готовите что-нибудь еще? Мясо? Соусы? Паштеты?

– И даже спаржу. Я запекаю ее в молодых побегах хмеля, – Мика понятия не имеет, как выглядит спаржа.

Всеобщий вздох, переходящий в вопль восхищения.

– Вот и отлично, дорогая! Тогда сразу перейдем к делу. Через месяц у нас планируется переезд в новый, гораздо более удобный офис. И мы... Мы все хотели бы, чтобы в нашей фирме возникло еще одно подразделение... Оно взяло бы на себя приготовление пищи для сотрудников. Вы согласитесь его возглавить?

– Я?

– Да.

– И что я должна буду делать?

– То, что любите. Готовить. Скромные, не требующие особых затрат обеды... Плюс работа на выезде.

– Что значит на выезде?

– Ну, к примеру... Если кто-нибудь из нас захочет поужинать в кругу друзей, в домашней обстановке. Это не будет обременительным для вас?

На виске Клауса-Марии бьется одинокая жилка, Йошка и Себастьян синхронно морщат лбы, и только Ральф окаменел в ожидании ответа.

- Нет. Это не будет обременительным.
- Естественно, выезды будут хорошо оплачиваться.
- Наличными, – подсказывает Ральф.
- Оплата вперед, – подсказывают Йошка с Себастьяном.
- А как же моя основная работа? Как же окна?
- Забудьте о проклятых окнах, дорогая! Вы согласны?

Странно, в эту минуту Мика испытала те же чувства, что и несколько лет назад, когда Солнцецкий сделал ей предложение: она застигнута врасплох, ей неловко и хочется, чтобы все поскорее кончилось. Единственный положительный момент: предложение верхушки «**Dompfaff**» не таит в себе ничего опасного, оно не потребует дополнительных усилий с Микиной стороны. Усилий морального порядка.

- Вы согласны? – напирает Ральф.
- Вы согласны? – напирают Йошка с Себастьяном.
- Вы согласны, дорогая? – подытоживает благообразный Клаус-Мария.
- Да.

Всеобщий вздох, переходящий в вопль восторга.

Сборная Германии победила, существуют-таки виды спорта, где Германия побеждает всегда.

...За последующие несколько лет жизнь Мики изменилась самым кардинальным образом. Зайдя в кабинет Клауса-Марии Шенке банальной пуц-фрау, она вышла из него... Кем же она вышла? Определения были даны позже и не ей, и все они были связаны с блюдами, сочиненными Микиными руками. «Апостол кулинарии» – так выразился Клаус-Мария, когда Мика приготовила фасоль и чечевицу под шоколадным соусом; гости – два лютеранских патера – были с ним солидарны и даже исполнили в честь Мики псалом «Коль славен наш Господь в Сионе» – *аканпельно*.

«Элтон Джон современной кухни» – так выразились Себастьян и Йошка, когда Мика приготовила грудинку по-эльзасски; гости – друзья Себастьяна и Йошки и друзья друзей Себастьяна и Йошки – были с ними солидарны и даже исполнили в честь Мики песню «Подмосковные вечера» – *караоке*.

О бедняге Ральфе и говорить не приходится. За последующие несколько лет он неоднократно предлагал Мике стать его женой, уехать в Дюссельдорф, уехать в Нюрнберг, уехать в Ганновер; уехать в Португалию и купить там замок с виноградником; уехать на Таити и купить там бар на пляже; уехать на Сейшелы и ничего не покупать, а посвятить все время друг другу: купаться в океане, ловить рыбу и... и... готовить ее, запекать на открытом огне, запекать в углях, в золе, в глине, в пальмовых листьях, с корнем сельдерея, с листиками мяты, с лепестками чудесного цветочка *асфодель* – да мало ли что можно придумать, *liebe*²⁰ фройляйн Полина!..

С того первого спонтанного завтрака в «**Dompfaff**» Ральф остался верен рыбе, что, несомненно, свидетельствует о его верности вообще.

Отказывая Ральфу, Мика не испытывала никакой неловкости, никакого сожаления; Ральф не обидится, она знает это точно, да и как можно обижаться, если ее «нет» всякий раз облечено в самые разнообразные, причудливые, съедобные формы? Формы – пальчики оближешь. И неизвестно, какое «нет» можно считать самым вкусным: спрятанное в сердцевине пудинга из каштанов, или прикрытое створкой мидии, или вымоченное в подливке для телячьего рагу.

²⁰ Дорогая (*нем.*).

Мика никогда не задавалась вопросом, любит ли ее Ральф на самом деле, или все дело в болезненной привязанности к ее стряпне; сначала кокаин, затем грибы-галлюциногены, а теперь вот еда. Тот еще наркотик, особенно в Микином исполнении. Ральф – наркозависимый тип и всегда был наркозависимым, тут и к гадалке не ходи. И Клаус-Мария, и Йошка с Себастьяном хорошо это знают, потому и позволили Ральфу отрешиться от своих невнятных обязанностей в сфере логистики и международных перевозок и полностью сосредоточиться на помощи Мике.

У Ральфа был новенький «Фольксваген Пассат», и таким образом Мика получила водителя с личным транспортом для вояжей за продуктами на городские рынки. В свою первую поездку она еще трусила: сможет ли она найти то, что нужно, и каким образом это находить? Да еще Ральф с его рассказами о рыбных рынках Неаполя, мясных рынках Тюрингии и рынке специй в Мекнесе – *вы когда-нибудь покидали Россию, liebe фройляйн?*

Нет.

– Странно, очень странно. Да это просто невозможно! Та чудесная рыба, которую я ел... Ее мог приготовить только человек, поживший на Средиземноморье. На Адриатике. На греческих островах.

Санторин. Мике всегда хотелось побывать на Санторине. Бело-синем, увешанном колоколами. Но рыба – вряд ли она приплыла из Греции. Гент, Утрехт, Антверпен – это гораздо ближе к истине. Следовательно, и Ральф совсем не такой дока, каким хочет себя выставить.

– Мы можем съездить куда-нибудь, liebe фройляйн. Если вы, конечно, пожелаете.

– На греческие острова?

– На острова. На полуострова. Куда угодно.

Ральф жаждет хоть чем-то заинтересовать Мику, быть полезным, быть нужным.

– Для того чтобы поехать куда-нибудь, нужен заграничный паспорт. А у меня нет заграничного паспорта.

– У вас трудности с паспортом?

Есть ли у Мики трудности с паспортом? Ни малейших. Она давно могла сделать паспорт – взамен самого первого, того, с которым ездила в Египет. Срок его годности вышел, но Мика не торопится заводить новый. Завести новый означало бы уехать, отправиться в путешествие. Странно, но путешествия совсем не прельщают Мику, помнится, в Египте она хотела лишь одного – поскорее вернуться домой.

И Васька.

Она не может оставить Ваську.

Не потому что Васька маленькая (не такая уж она маленькая) – потому что Мика совсем не уверена, что обнаружит Ваську вернувшись. Ту кошмарную, омерзительную, несговорчивую, упрямую Ваську, которую она знает. За время Микиного отсутствия Васька вполне может превратиться в кошку – и это далеко не худший вариант. Хуже будет, если Васька превратится в человека, несколько от Мики не зависящего. Ни в чем.

Не-ет, покидать Питер Мика не собирается. Не нужно ей такой радости.

– Если у вас трудности с паспортом, я помогу вам, liebe фройляйн.

– Не стоит беспокоиться, Ральф.

В свой первый визит на рынок в качестве «апостола кулинарии» Мика прихватила нож, самый маленький из трех – с омельой на рукояти. Опять же от трусости. От неуверенности, что произошедшее на ее кухне повторится на всех других кухнях.

– Чем вы собираетесь удивить нас на этот раз, дорогая? – почтительно поинтересовался Ральф.

– Еще не знаю.

– Решите позже?

Мика провела языком по пересохшему небу и инстинктивно прижала к груди пакет с ножом. Жест получился неловким, замаскированный пакетом нож кольнул ее острием – совсем не больно, а ласково, ободряюще: *успокойся, Мика, не бери в голову, Мика, все устроится самым лучшим образом.*

Хорошо, если так.

– Пожалуй что... Решу позже.

Ничего экстраординарного на рынке (как впоследствии на всех других рынках) не нашлось. Стандартный набор свежих овощей и фруктов, стандартные мясные и молочные ряды, мед, сыры, бакалея – все в пределах унылой среднестатистической нормы, самое время вспомнить о Неаполе, Тюрингии и Мекнесе. На скупившегося Ральфа лучше не оборачиваться.

Мика и не оборачивалась.

Мика вообще позабыла о Ральфе – так увлек ее новый, удивительный мир. Она и раньше бывала в подобного рода местах, а на Сытном рынке, находящемся в двадцати минутах ходьбы от дома, так и вовсе едва ли не дважды в месяц. Засилье азербайджанцев и таджиков; торгаши, назойливые как мухи; пьяницы, калеки, нищие; несколько десятков крепких еще пенсионеров, втягивающих краденые смесители, паяльные лампы, блесны и порнокассеты; павильон «Все для кухни», павильон «Все для дачи», павильон псевдоживой рыбы, китайский копеечный ширпотреб в зазорах между павильонами – и в тот раз все было как всегда.

Или все же нет?

Мика не торговалась.

Она подходила туда, куда хотела подойти, и рыночный гул сразу же стихал, стихали разговоры продавцов, все они склоняли головы и застывали в немом почтении, как если бы Мика была августейшей особой, а все они – ее подданными; как если бы Мика была чудотворной иконой, а все они – жаждущими исцелиться. Такая реакция не испугала и не позабавила Мику, напротив, она сочла ее совершенно естественной —

иначе и быть не должно.

Да и как могло быть иначе, если гранаты в ее руках вспыхивали, как драгоценные камни, яблоки и персики смущенно краснели, виноград истекал соком желания, а сыры пускали светлую, ничем не замутненную слезу? Видел ли это еще кто-нибудь, кроме самой Мики? Наверное, да. Во всяком случае, пожилой кавказец, у которого она купила миндаль, вышел из-за прилавка и попытался благоговейно коснуться ее запястья; женщина – по виду крестьянка, – у которой она купила творог, сложила руки в тихой молитве, как будто Мика явилась с небес, в одеждах золотых и пурпурных. Эти люди и другие люди (приставленные к мясу, битой птице, ягодам можжевельника, зелени, картофелю) – они могли бы сделать для Мики все. Пожелай Мика – и она получила бы горы провизии бесплатно: никому и в голову не пришло требовать денег с чудотворной иконы. С матери-земли, пришедшей навестить своих детей. Именно так и ощущала себя Мика – *матерью-землей*, прародительницей гранатов, винограда, персиков и груш – всего того, что насыщает, доставляет удовольствие, поддерживает жизнь. В волосах Мики запутались веточки кинзы и петрушки, с Микиных плеч свисали бычьи хвосты, шею украшали ожерелья из маслин и чернослива; колосья, свиные лопатки, растительное масло, вино – из этого состояли теперь Микина плоть и кровь.

– Люди... Они так смотрят на вас... Как будто готовы съесть вас живьем, – шепнул Мике вконец сбитый с толку Ральф.

– Пусть смотрят, – улыбнулась Мика.

– Они... Они идут за нами...

– Это ничего, – Мика улыбнулась еще шире. – Они скоро отстанут.

Люди и правда отстали, стоило только выйти за ворота рынка, а Мика снова стала Микой – ничем не примечательной девушкой двадцати одного года от роду. О странном, малопонят-

ном происшествии на рынке напоминали только сумки, набитые снедью (их нес Ральф) и легкое покалывание в груди Мики – в той самой точке, куда попало острие ножа.

Покалывание исчезло к вечеру, и Мика и думать забыла о нем.

Как и о предложении, которое сделал ей Ральф, едва они уселись в «Фольксваген Пассат».

– У вас есть друг, liebe фройляйн Полина? – спросил он, глядя перед собой.

– Ну какая же я фройляйн, Ральф, не смешите! И вообще... Можете звать меня Микой.

Худощавый, невысокий, с растерянным лицом ребенка, застывшего перед экраном в ожидании девятичасовых новостей, Ральф не таил в себе никаких опасностей и уже поэтому был симпатичен Мике. «Liebe фройляйн» каждый раз выползало из его рта с натужным скрипом, так почему бы не упростить отношения? Никаких препятствий к этому нет.

– Мика?

– Точно. Все близкие люди зовут меня так.

Мика лукавила. Уже давно никто не звал ее *так*. Те, кто мог бы, давно умерли или хуже мертвых. «Хуже мертвых», безусловно, относится к Ваське, в их отношениях нет ничего живого, ничего сердечного, между ними тот самый холод стекла, о котором говорил Ральф.

– ... Вы приглашаете меня войти в круг близких вам людей? —

Мика даже поморщилась, так пафосно это прозвучало.

– Ну... Что-то вроде того.

Неожиданное известие обрадовало Ральфа, оно было сродни выигрышу в лотерею мопеда, новенького, блестящего, со стилизованным изображением *Мирового Червя* на корпусе. Хотя зачем Ральфу мопед, ведь у него уже есть автомобиль?

– Означает ли это, что могли бы сблизиться еще больше? Со временем, – тут же поправился Ральф.

– Еще больше? Это как? – включила дурочку Мика.

– Как могут быть близки... мужчина и женщина.

Вот он, прагматичный немецкий подход. Если сейчас Мика скажет «да», или «может быть», или «этого не может быть в принципе, хотя...», Ральф приложит все усилия, задействует все резервы, не остановится ни перед какими затратами, чтобы завоевать Мику. В противном случае он и пальцем не пошевелит.

– Как мужчина и женщина? Вряд ли.

– «Вряд ли» значит «нет»?

– Именно. Категорическое и решительное «нет».

– Я глупец. Я должен был сначала спросить вас, не занято ли ваше сердце.

И Солнцеликий в свое время интересовался чем-то подобным. Тогда Мика сказала ему правду, она могла бы сказать ее и сейчас. Ее сердце не занято и никогда не будет занято. В нем всегда будет темно, как в Васькиной кладовке. На что втайне надеется Мика? На то, что Ваську привлечет темень и она, рано или поздно, спутает двери и просочится внутрь Микиного сердца и, ни о чем не подозревая, разложит там весь свой немудреный сверкающий мир. А Мика р-раз – и захлопнет дверь. Запрет ее на замок —

попалась, сестренка!

– Мое сердце не занято, Ральф. Но это не означает, что оно свободно.

– Русские... Почему они такие сложные? – Ральф предпринимает титанические усилия, чтобы понять Мику.

– Ничего сложного.

– Мы забыли купить рыбу, – способность Ральфа перескакивать с темы на тему удивительна.

– Мы не забыли купить рыбу. Мы будем готовить мясо.

– Мы? Вы позволите мне присутствовать при этом... этом действе? – Ральф цепляется за любое Микино слово зубами, с ним надо держать ухо востро.

- Не думаю, что это хорошая идея.
- Кухня требует сосредоточенности, и поэтому вы не любите, чтобы вам мешали.
- Да.
- Поэтому вы никого не хотите подпускать к своим кастрюлькам...
- Да.
- Поэтому вы никому не позволяете заглядывать в них...
- Да.
- Выходите за меня замуж, liebe фр... Мика.

Так и есть. Первые впечатления от близкого знакомства с Ральфом Норбе, адептом грибов-галлюциногенов, оказались верными: с ним надо держать ухо востро. Он попытался усыпить Мику ее же собственным, монотонным, как дождь, «да». И выудить из нее еще одно «да», подтащить его к себе на обрывке дождевой струи. Напрасный труд, симпатяга Ральф, – улица полна солнца, в небе ни облачка, и, по прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки не предвидится никакого дождя.

- Нет.
- Нет?
- Я не выйду за вас замуж. Нет.

Ральф несколько не расстроен, он слегка порозовел, расслабился и, кажется, вздохнул с облегчением; сидение перед телевизором в семилетнем возрасте не прошло даром, стеклянный экран все еще при нем. Стеклянный экран все еще отделяет Ральфа от женщин, от *всех* женщин, даже Мика, которая (как известно) не такая, как все, – даже Мика не является исключением. По здравом размышлении зачем ему вообще избавляться от стекла? Возможно, Ральф ошибся в определении, и оно не холодное, на его поверхности господствует умеренный климат и проложены тенистые кокаиновые дорожки. По их обочинам, то здесь, то там, обнаруживаются веселенькие шляпки грибов-галлюциногенов – вот и повод перестать, наконец, дурить и заняться международными грибными перевозками.

И логистикой.

В этом случае Ральфа ждет хотя бы призрачная надежда на успех. А в случае с Микой (и со всеми другими женщинами тоже) нет даже надежды.

- Вы всем делаете предложения, Ральф? И той девушке в офисе?..
- Та девушка в офисе просто шлюха. Вы были совершенно правы.
- А вдруг и я окажусь шлюхой?

Мика первая готова рассмеяться своим словам: какая же она шлюха в самом деле, у нее и мужчины-то никогда не было! Как ни странно, Мика совершенно от этого не страдает.

– Вы шлюхой? – Ральф делает то, чего не сделала Мика: он смеется. – Девушка, которая так готовит, не может быть шлюхой.

– Вы правы. Вы меня поймали, Ральф.

Если кто и пойман – так это Ральф, а совсем не Мика. И не он один; есть еще Клаус-Мария, есть еще Йошка с Себастьяном. Мика изловила их всех – на живца. *На живцов*, тушеных в луке и перце, натертых фенхелем и шафраном, напичканных зеленью. Неожиданно открывшийся дар сделал ее почти всесильной, и это нравится Мике.

Очень нравится.

* * *

...Ее двадцатичетырехлетие ознаменовалось открытием ресторанчика «Ноль за поведение». Учредители: Клаус-Мария Шенке – Себастьян Фибелер – Йошка Плауманн – Ральф Норбе. Пятой в списке могла оказаться Мика, она могла бы стать даже первой, – если бы захотела. Но Мику вполне устраивает ее нынешнее положение – шеф-повара «Ноля».

Вряд ли название придумал кто-то из четверки. Оно подсмотрено, или подслушано, или украдено где-то на стороне, но при этом достаточно точно характеризует прошлое владельцев: и отставной церковный прелюбодей Клаус-Мария, и разнузданные гомосексуалисты Йошка с Себастьяном, и наркуша Ральф ничего, кроме ноля, не заслуживают.

Ресторанная идея витала в воздухе уже давно, едва ли не со времен первого гастрономического консилиума в кабинете Клауса-Марии. Разночтения вызывала лишь направленность будущей точки общепита: Йошка с Себастьяном предложили устроить нечто вроде гей-клуба с кухней (*таким образом мы получим устойчивый, мобильный и платежеспособный контингент*); Клаус-Мария предложил устроить нечто вроде кухни с преподаванием основ лютеранства и песнопениями по воскресеньям (*таким образом мы получим устойчивый, тянущийся к богу и респектабельный контингент*). Ральф обвинил товарищей в сектантстве и предложил совместить обе идеи, хотя...

решать, как вы понимаете, будем не мы, а liebe фройляйн Полина.

Liebe фройляйн все равно, но крайностей хотелось бы избежать – так Мика и заявила. Засилье гомиков – крайность, песнопения – крайность, имеет ли смысл остановиться на варианте самого обычного ресторанчика, где главное – хорошее меню?

Да.

В вашем случае меню не просто хорошее, оно будет отличным. Выдающимся. Единственным в своем роде – таков был общий вывод, и Мика согласилась с ним, скромно потупив глаза.

«Ноль за поведение» возник на месте бывшего гастронома площадью в сто пятьдесят квадратных метров, по четной стороне Каменноостровского, рядом с Австрийской площадью, в двух кварталах от «Ленфильма». Соседство «Ленфильма» ничего не значит – никто из немецкой четверки не увлекается кино. Никто из людей, работающих на «Ленфильме», не заходит в «Ноль за поведение». Лишь однажды сюда забрел на чашку кофе непуганый кинокритик, заявивший, что ожидал большего от интерьера заведения. Ведь его имя полностью дублирует название одного из самых выдающихся фильмов мирового кинематографа, снятого то ли в начале, то ли в конце тридцатых, если нужно – он может уточнить по кинословарю.

Больше кинокритика никто не видел, тем более что кофе не является сильной стороной «Ноля».

Его сильная сторона – Мика. И то, что готовит Мика. Мастерство приготовления пищи не покинуло ее, наоборот – оно оттачивается с каждым днем, становится все совершеннее. Мика сама сочиняет блюда (лучше сказать *блюда сочиняются по ходу*), их нельзя отнести ни к какой конкретной кухне – ни к средиземноморской, которая так нравилась Ральфу, ни к французской, ни к итальянской, ни к арабской, ни к латиноамериканской, оттого и было принято предложение мудрого Клауса-Марии назвать ее «оригинальной». Вывеска на фронтоне выглядит следующим образом:

«НОЛЬ ЗА ПОВЕДЕНИЕ»

(оригинальная кухня, авторские блюда)

Никаких дополнительных манков в виде живой музыки, скидок на глинтвейн, стриптиза, бильярда, чемпионата по дартсу среди друзей ресторана или спортивных состязаний на большом экране не требуется. Как не требуется особого дизайна интерьера, которым остался так недоволен пришлый кинокритик. Себастьян и Йошка настаивали на двух десятках репродукций с коллажей Пьера и Жилия – еще одной мутноглазой парочки с сомнительной сексуальной ориентацией. Слава постмодернистов Пьера и Жилия не идет ни в какое сравнение с местечковой известностью Йошки и Себастьяна; о Пьере и Жиле слышали как минимум три миллиона людей по всему миру, а еще двести пятьдесят тысяч видели их коллажи на разных носителях, в том числе электронных.

Даже Мике до славы Пьера и Жилия далеко.

Но она и не стремится к ней, она довольствуется тем, что есть.

Каждый вечер в небольшом зальчике «Ноля» яблоку негде упасть – это ли не радость? Столики заказывают за неделю, а то и за две – это ли не радость? Клаус-Мария уже подумывает о расширении – это ли не радость? Правда, для того чтобы расшириться, пришлось бы оттяпать площади у коммерческого банка по соседству. Не такая уж невыполнимая задача, учитывая, что глава администрации района хорошо знаком с Клаусом-Марией, а вернее с Микиным кулинарным искусством. Он бывал в «Ноле» раз пятнадцать в качестве простого посетителя – vip-персон здесь не существует в принципе. Или нет: каждого завсегдатая «Ноля» владельцы рассматривают как vip-персону. Или нет: vip-персонами здесь являются блюда, которые приготовила Мика.

Не в восторге от идеи расширения только она – это потребовало бы привлечения еще нескольких поваров – и неизвестно, как бы они поладили с Микой. И главное, во что бы тогда превратилась «оригинальная кухня»? Это ведь Микина оригинальная кухня, ничья другая.

В «Ноле» неизменна лишь карта вин.

С основным меню все обстоит по-другому: Мика ненавидит повторения в своих экспериментах, ее угнетает строгое дозирование в закладке продуктов, как-то она спросила у Клауса-Марии: *можно ли решить вопрос с меню ко всеобщему удовлетворению?*

– Это трудно, дорогая фройляйн. В каждом ресторане необходимо меню с перечнем блюд. Клиенты должны получать именно то, что они заказывают.

Клиенты должны получать радость от еды и еще массу неуловимых, плохо поддающихся определению эмоций – так думает Мика. Свой идеальный ресторан она иногда представляет неким тайным сообществом. Для того чтобы вступить в него, необходимо пройти несколько ступеней посвящения. Скучное меню – для новичков, для тех, кто пришел сюда первый раз, или просто заглянул переждать грозу, или скоротать время до начала сеанса в ближайшем кинотеатре. Они-то и тычут пальцем в судака по-польски, дурацкий эскалоп без гарнира, свинину, запеченную в грибах, во фруктовый салат и три шарика мороженого.

Завсегдатаи – дело другое.

Они знают – можно не заказывать мясо, а просто произнести: **сегодня у меня был трудный день, моя девушка призналась, что уходит к другому.** Можно не заказывать рыбу, а просто произнести: **сегодня у меня был замечательный день, я таки успел сбросить эти акции еще до того, как котировки пошли вниз.** Можно не заказывать овощи и салат, а просто произнести: **сегодня снова дождь, и мне немножко грустно, неужели солнце не появится никогда?..**

Солнце обязательно появится. Или то, что люди определяют для себя как солнце.

Самое удивительное, что идея идеального ресторана не так уж абсурдна.

Уже сейчас для каждого, кто приходит в «Нолю» не единожды, у Мики припасено что-то особенное: и для того, кого бросила девушка, и для того, кто играет на бирже, и для того, кто ненавидит дожди, и для того, кто души в них не чаёт. Есть масса поводов, по которым можно грустить, или радоваться, или впадать в ярость, или решиться изменить свою жизнь раз и навсегда, или купить себе новый костюм от Gianfranco Ferré, или купить котенка в подземном переходе —

Мика учитывает каждый.

Ее соусы веселят, а подливы добавляют уверенности, а сложносочиненное сотэ утешает. Во имя утешения на кухне «Ноля» постоянно горят восемь газовых конфорок, и ни одна из них не пустует: кастрюли, гусятницы, сотейники, сковороды – большие и малые, в них постоянно что-то тушится, жарится, варится, томится, доходит до кондиции на пару. Во имя утешения Мика сечет головы овощам и расчленяет куски мяса, и выскребает внутренности птицы; стук ножа не прекращается ни на минуту. Стук всех трех ножей: тимьян, омела, мирт по очереди сменяют друг друга. Ножи не тупятся, они остры так же, как в ту ночь, когда Мика впервые уви-

дела их на собственной кухне. Кроме ножей, Мика перенесла в «Ноль» все, что смогла, – сковороды, казан и оказавшиеся невостребованными поначалу кастрюли, жестянки со специями, и белую с коричневыми прожилками разделочную доску, и даже несколько скульптур – тех, что влезли в салон «Фольксвагена Пассата». Монументальные эстонец и узбек с русской девочкой на руках остались дома. Так же как витражи с Утрехтом, Гентом и Антверпеном посередине. На качестве приготовления пищи это не отразилось, из чего следует вывод: дело не в них, а в самой Мике. *Дар* заключен в ней, а не пришел откуда-то со стороны. *Дар* творит чудеса. Когда Мика священнодействует над своими кастрюлями, над разделочной доской, кажется, что у нее не две руки, а целых шесть, как у индийской богини. Мика проводит в «Ноле» большую часть суток: ей нравится то, что она делает, она находит свою работу не только нужной людям, но и философичной, полной высшего смысла, открывающей новые горизонты. Нет ничего, к чему бы Мика не нашла подход – будь то крошки-анчоусы или громадная рыба-меч, доставленная самолетом напрямиком из Неаполя.

С того самого рыбного рынка, о котором когда-то говорил Ральф.

Ральф – ее главный помощник, ее правая рука.

То, что он оказался в должности завпроизводством, получилось само собой. Он же ведет бухгалтерию, занимается торговым оборудованием, закупкой посуды и поставкой продуктов, которые заказывает Мика.

Клаус-Мария устроил на должность администратора «Ноля» свою бывшую любовницу из хора при лютеранской церкви, Йошка и Себастьян подогнали парочку интеллигентных гомиков для работ на кухне – словом, обслуга рестораника состоит из людей, проверенных немецким квартетом и вполне устраивающих Мику.

Раз в неделю она отдает Ральфу список с названиями продуктов, которые невозможно достать на рынках города. О вкусовых качествах некоторых из них Мика не имеет представления, другие и вовсе не видела в глаза – и все же они нужны ей. Почему – Мика и сама не знает. Иногда случались и проколы: но только в тех случаях, когда речь шла о растениях и плодах. Так, однажды она внесла в список *пейот* и еще два названия, без смеха их не выговоришь:

ололюки и *аяхуаска*.

Прочтя это, Ральф впал в глубокую задумчивость.

– Вы в курсе, что это такое, Мика?

– Что именно?

– Пейот. Ололюки и аяхуаска.

– Нет. Но я думаю, что они могут понадобиться мне в качестве приправ. Они придадут известную тонкость блюдам. Изюминку, вот.

– Вообще-то и пейот, и ололюки с аяхуаской – сильнодействующие наркотики.

– Разве? – Мика потрясена.

– Вытяжки и экстракты из них до сих пор используются в самых разных обрядах в Колумбии и Мексике. Они вводят человека в состояние глубокого транса. Делают его ясновидящим и вызывают галлюцинации, которые могут длиться несколько дней.

– О боже!..

О наркотиках Ральф знает все, и у Мики нет никаких оснований не доверять его словам.

– Для южноамериканских индейцев эти растения священны. И вряд ли я смог бы достать их, даже если бы захотел.

– Не стоит, Ральф! Давайте просто вычеркнем их из списка. Как будто их там и не было никогда. Хорошо?

– Хорошо.

– И вот еще что... Я ненавижу наркотики, и мне не хотелось бы, чтобы вы думали...

– Ничего дурного я не думаю. Не стоит так переживать. Совсем напротив...

– Что «напротив»?

– Я думаю, что вы самая удивительная, самая загадочная девушка, которую я когда-либо встречал...

Самая загадочная девушка по ту сторону экрана. На рыбном рынке Неаполя, на мясных рынках Тюрингии, на рынке специй в Мекнесе такую не сыскать. Очередное (тысячное, миллионное) признание Ральфа оставляет Мику равнодушной. Единственное, чем она обеспокоена, – как бы история с пейотом, ололюки и аяхуаской не стала достоянием общественности. Даже намек на подобный слух поставил бы крест на Микиной репутации: она добавляет наркотики в пищу – вот тебе и секрет популярности оригинальной кухни. Ужас-ужас-ужас, во-первых. И неправда, во-вторых.

Напрасное беспокойство – Ральф будет молчать.

Он слишком сильно зависит от Мики.

Ему единственному позволено присутствовать на кухне в то время, когда Мика занимается приготовлением блюд: Ральф находит это зрелище исполненным магии и поэзии, *liebe Мика – настоящая маленькая колдунья. liebe Мика могла бы вести кулинарное шоу, следующее сразу за девятичасовыми новостями. liebe Мика могла бы выступить с перформансами в галереях по всей Европе, и они имели бы колоссальный успех. liebe Мика позволит мне нарезать манго и папайю для фруктового салата? а приготовить фиалковый соус?..*

Ни за что.

У Мики уже был печальный опыт. Как-то раз она разрешила Ральфу принять участие в судьбе фаршированных баклажанов – и результат оказался плачевным. Не то чтобы баклажаны были несъедобны – они были самыми обычными, такие подают везде, в любом ресторане, в любом кафе с большим или меньшим количеством чеснока. Клиент, получивший их, не выказал недовольства, но на полгода забыл о существовании «Ноля».

О таких просчетах Мика предпочитает не вспоминать.

И Ральф вместо того, чтобы готовить священный фиалковый соус, отправляется к двум тишайшим интеллигентным гомикам – мыть картофель, морковь и латук.

Подбор официантов – единственное, что взяла на себя Мика, кроме кухни. Многого от них не требуется: быть немножко психологами, немножко поэтами и хоть чуть-чуть нравиться публике. Мика ни с кем особенно не сблизилась, кроме двоих. Мулат Иван (он предпочитает, чтобы все звали его Ив) – бывший стриптизер, бывший жиголо, бывший чемпион Питера по акробатическому рок-н-роллу. Что заставило его бросить стареющих богатых овец и осесть в «Ноле» – неизвестно. Второй – Виталик – закончил театральную академию, но ни дня не проработал в театре. Запах пыльных кулис его не прельщает, кино – дело другое. С такой фактурой, как у него (порочный героиновый бэби), Виталик запросто отхватил бы главную роль у самого Квентина Тарантино. Виталик свято верит, что рано или поздно Квентин в очередной раз заглянет в Россию и – следовательно – в Петербург, тут уже и до «Ленфильма» недалеко. А «Ленфильм» – это почти «Ноль за поведение», двести метров решающего значения не имеют. Так что Виталику остается спокойно дожидаться, когда жертва забьется в сети, – он называет это «стратегией паука».

– Каковы шансы, что Тарантино появится здесь? – спросила как-то Мика.

– А каковы шансы, что здесь появится Иисус? – улыбка Виталика сродни улыбке Чеширского кота. Когда он *так* улыбается, Мика тотчас начинает жалеть, что Тарантино ни разу не забегал в «Ноль» хотя бы отлить. Без Виталика он бы точно не ушел.

– Не знаю. Один на миллион?

– Что-то вроде того.

– Не проще ли тогда уехать в Америку? Уехать в Голливуд? Послать Тарантино фотки с лос-анджелесского почтамта?

– Не проще. Уехать – значит переключиться со стратегии паука на тактику мухи. Как заканчивает жизнь большинство мух, нам известно.

– Совсем не так известно, как ты думаешь, – Мика обожает незатейливые инсектицидные беседы с Виталиком.

– Разве? Мух прихлопывают, потому что они суеются и не умеют ждать. Ничего им в жизни не светит, ничего. А все счастливые случаи происходят только...

– С пауками?

– Представь себе.

Сколько раз они с Виталиком болтали о мухах и пауках? Двадцать, не меньше. Каждый из таких разговоров укрепляет Мику: она всю жизнь, сама не зная того, придерживалась паучьей стратегии – в отношении Васьки, во всяком случае.

Всю жизнь Мика ждала.

Сначала что маленькая Васька привяжется к ней; затем что подрастающая Васька перестанет ее дичиться; затем что выросшая Васька определит ее в подруги, пусть и неблизкие. Даже этого было бы достаточно.

Васька выросла, ей уже почти двадцать, но ничего подобного не произошло.

Исключение составляют лишь спорадические контакты на бытовой почве, хотя и их Васька предпочитает сводить к минимуму. Она давно покинула свою комнату и живет в дедовой мастерской, среди девушек с веслами, счастливых колхозников, одухотворенных сталеваров, гарцующих лошадей Тамерлана и маршала Рокоссовского. Место не слишком комфортное, но Ваську оно вполне устраивает: мастерская имеет отдельный вход, через него-то и льется неиссякаемый поток Васькиных мальчиков. Иногда Мика встречается с ними у ванной или туалета. И никто из мальчиков с ней не здоровается, а если здоровается, то через губу – неизвестно, что там плетет о Мике Васька:

а-а, это моя сестра, не обращайтесь на нее внимания, она шизофреничка;

а-а, это моя сестра, не обращайтесь на нее внимания, она посудомойка в столовке и редкая сука;

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.